

A black and white portrait of George Orwell, looking slightly to the right with a serious expression. The image is the background for the entire cover.

18+

Вячеслав
Недошивин

Джордж
ОРУЭЛЛ

Неприступная душа

Литературные биографии

Вячеслав Недошивин

**Джордж Оруэлл.
Неприступная душа**

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Недошивин В. М.

Джордж Оруэлл. Неприступная душа / В. М. Недошивин —
«Издательство АСТ», 2018 — (Литературные биографии)

ISBN 978-5-17-982447-3

Вячеслав Недошивин – писатель, автор книг «Адреса любви. Дома и домочадцы русской литературы. Москва, Санкт-Петербург, Париж» и «Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург». Долгие годы – от диссертации об антиутопиях в 1985 году до статей в научных сборниках и журналах («Иностранная литература») – занимался творчеством Дж.Оруэлла и переводами его произведений. «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» – это не только подробнейшая биография английского классика, не просто увлекательный рассказ о его жизни и книгах, о его взглядах и его эпохе, – но и, в каком-то смысле, первый его «русский портрет». О русской женщине, в которую был влюблен, об офицере-эмигранте из России, спасавшем его в Париже, и о фронтовом друге-петербуржце, которого, напротив, спасал в Испании уже сам Оруэлл, о дневниках писателя, исчезнувших в подвалах Лубянки, и о переписке с СССР, которую обнародовали у нас лишь в девяностых... Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из лондонского архива писателя, многие из которых публикуются в России впервые.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-982447-3

© Недошивин В. М., 2018

© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Пролог	7
Часть первая.	13
Глава 1.	13
Глава 2.	26
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Вячеслав Недошивин

Джордж Оруэлл. Неприступная душа

Если ты в меньшинстве – и даже в единственном числе, – это не значит, что ты безумен. Есть правда и есть неправда, и, если ты держишься правды, пусть наперекор всему свету, ты не безумен...

Джордж Оруэлл

Марку Маркину —покойному другу и наставнику

Художник – Владимир Мачинский

Издательство благодарит Архив Джорджа Оруэлла в University College London за предоставленные фотографии

Пролог

«Быть честным и остаться в живых – это почти невозможно». Вот фраза, после которой не знаешь даже, как и жить. Дальше – жить!.. Разве не так?..

Оруэлл сказал это про всё – и за всё. Про нас, про мир за окном, про глобальную политику и про любовь двоих, про вечное искусство и личную войну его – литературу. А ровно через 63 года 4 месяца и 17 дней после этих слов, майским утром 2013 года, на бульвар Лас Рамблас ступил седоватый и строгий британец...

Барселона. Готический квартал. Весна, солнце, выбелившее камни, гора Тибидабо, нависающая над мегаполисом, с которой Сатана показывал землю Христу, магазинчики с яркими маркизами, кафешки на дне узких улиц, рюмочная «Иуда», тапас-бары с терпким тинто, шляпки и шлепанцы туристов, и – запахи: запахи кофе, алкоголя, пота, гашиша, парфюмерии, бензина, ароматы амбиций, безучастности, наглости, любопытства, тайного секса и какой-то международной уличной гнильцы. Художники, проститутки, продавцы, попрошайки, интеллектуалы, пьянчуги, – и ленивые парни с задиристо задранными сигаретами в зубах, целлулоидные девицы в жмущих со всех сторон маечках – стайки, кучкующиеся на пласа Трипи, рядом со скульптурой Леандре Кристофоля, увенчанной деревянным шаром. Всё это вряд ли охватывал глаз ошалевшего британца. Хотя интересовали его места вполне конкретные. Кафе «Мокка», отели «Континенталь» и «Фалькон», кинотеатр «Полиорама», – все те места, где воевали когда-то его отец и мать. «Здесь всё сохранилось, – суетливо твердил ему Ник Ллойд, местный историк, – всё цело, но об этом, увы, никто не знает...»

Никто в качающихся толпах не помнил, что против кафе «Мокка» выросла когда-то баррикада, за которой, перебегая улицу под обстрелом, прятался отец британца. Что в отеле «Колон» располагался штаб коммунистов, там в окне был выставлен пулемет; а в гостинице «Риволи» – исполком ПОУМ, испанской Объединенной рабочей марксистской партии, той, которая буквально в несколько дней стала вдруг «пятой колонной». В «Риволи» исполкомовцев и брали – всех и сразу! – чтобы в считанные дни убить в застенках испанской полиции и нашего НКВД. Что, наконец, с бликующей крыши «Полиорамы» его отец трое суток контролировал тревожную ситуацию на опустевшей вмиг Рамблас. Истоптанный, веселящийся город не хотел даже помнить, что древняя Треугольная площадь, Трипи, давно переименована в честь отца англичанина (так гласили таблички на стенах!). И уж, конечно, мало кто догадывался, что деревянный шар, венчающий скульптуру Кристофоля, олицетворял, представьте, «глаз» из книги отца, глаз, который вечно следит за тобой. «Большой Брат видит тебя»!..

«Быть честным и остаться в живых...» Вспоминал ли эту фразу англичанин? Видел ли в устьях улиц Эскудальерс и Авиньон тень отца своего? Долговязого нескладного человека с забинтованной шеей, в куртке, давно превращенной в лохмотья, и в ботинках, от которых остались одни шнурки? Именно так выглядел лейтенант дивизии им. Ленина, записанный в ополчении как бакалейщик Эрик Блэр, когда в июне 1937 года возник в этом городе. Немногие знали тогда, что это – Джордж Оруэлл. Теперь следы писателя, его дороги и тропки искал приемный сын, Ричард Блэр. Искал в канун 110-летия Оруэлла. Словно хотел вернуться в те дни, когда тот буквально родился второй раз. И как гражданин мира родился, и как боец, и – как писатель...

«Быть честным и остаться в живых...» Он остался и честным, и живым. «Как писатель, он владеет XX веком», – написал о нем уже в наше время Кристофер Хитченс. «Он и ныне преследует нас, – удивлялся в дни его 110-летия Джеффри Уиткрофт. – Его цитируют, на него молятся политики и полемисты диаметрально противоположных убеждений». Реально «его ногти часто бывали грязны, его банковский счет постоянно был пуст, а здоровье было подорвано туберкулезом», – напишет в год юбилея Оруэлла американец Уильям Джиральди, но,

назвав его «мудрецом XX века», вдруг заявит: Оруэлл не писатель, «он – Джордж Провидец», да просто «Святой Джордж».

Святой! Об этом говорили и современники Оруэлла. «Он кристально честен, он не способен на лицемерие, – писал в 1943 году Рашбрук Уильямс, директор «Восточной службы Би-би-си», где одно время служил Оруэлл, – поэтому в прежние времена его либо причислили бы к лику святых, либо сожгли бы на костре». Святой, ибо, как давно подсчитали специалисты, самым частым словом в его публицистике – а я бы сказал, ключевым! – было слово *decency*, «порядочность». И, кстати, в псевдониме его имя Джордж – действительно имя святого покровителя Англии, а фамилия – Оруэлл – всего лишь название речушки его детства, где он любил ловить рыбу.

...С этого места – с речушки, рыбы, безмятежного детства – можно было бы и начать книгу: нехитрый смысловой мостик к этому, как видите, переброшен. Но есть два, нет, пожалуй, три обстоятельства, которые хотелось бы обговорить в начале. Что называется, «на берегу».

Во-первых, хочу признаться: несмотря на «святость» Оруэлла, у меня не было и нет сусального, идолопоклоннического отношения к нему. Во-вторых, считаю необходимым уже сейчас сказать о задачах и целях, которые ставил перед собой, взявшись писать эту книгу. А в-третьих (раз уж это биография писателя, выходящая в России), хотелось бы разобраться, в каком смысле его можно было бы назвать «русским Оруэллом» – рассказать, что значили книги и имя его для нас и в сталинскую эпоху, и в брежневский застой, и в так называемую перестройку. Не многие ведь знают, что когда-то в Париже он работал посудомоем как раз в *русском* ресторане, что в друзьях его ходили именно *русские*, что одно время он был даже влюблен в *русскую* писательницу-эмигрантку, и что лично – вообразите! – переписывался с Москвой – с «Иностранкой», с журналом, который назывался тогда «Интернациональная литература». «Хотя он и был очень английским писателем, – напишет один из его соотечественников, – в его застенчивой и упрямой духовности было что-то, не имеющее аналогов у нас. Мне приходит на память русское имя – Антон Чехов, человек, тоже плывший против течения и тоже задохнувшийся так рано». А другой заметит прямее: «Не знавший русского языка, он иногда казался мне русским, и не потому, что боготворил Достоевского... Он слишком сильно для наблюдателя страдал за русскую трагедию. Он постоянно говорил о Сталине, о репрессиях, об исчезающих людях. Но и когда не говорил, мне казалось, что он думает об этом. Я убежден: не было ни дня, когда он об этом не думал бы...»

Знали мы это? Да нет, конечно. Но зато точно знали, что на полвека он был намертво запрещен в СССР, что за его книги преследовали, а за передачу их «из рук в руки», за распространение давали даже сроки. Сначала – по зловещей 58-й статье, а затем – по приснопамятной 70-й, «антисоветская агитация и пропаганда». Семь лет лагерей на первый раз, и десять – если повторно. Это всего лишь за книги, за бумажные листики...

Для меня «русский Оруэлл» начался в далекие шестидесятые годы прошлого уже столетия, когда его именовали даже не Оруэлл, а резко и хлестко – «Орвэлл». Мне и сейчас это произношение нравится больше.

Да, раньше имя произносилось легко, только вот помянуть его было опасно. Я услышал о нем в 1969-м, когда был принят на работу в «Смену» – комсомольскую газету Ленинграда. Конечно, и в ней, среди трех десятков журналистов, имя это знали единицы – лобастые да «продвинутые»: те, кто владел английским, кому удалось побывать за границей, кто интересовался политикой или литературой. Именно среди «продвинутых» уже тогда бродил в самиздате перевод романа «1984», который давали читать на ночь. Я отлично помню, как дверь в редакционном кабинете запиралась на ключ, в оттянутый диск телефона вставлялся карандаш (так якобы можно было избежать «прослушки») и – начинался вполголоса разговор: невообразимый, запредельный, невозможный до ужаса. Сердце колотилось, когда ты узнавал, что твоя

газета – всего лишь часть огромного «Министерства Правды». Что «выключенный» телефон – это защита не от КГБ – от «Большого Брата», который «видит» всех на свете. Что Сталин, Хрущев и бессменный уже Брежнев – это «хряки Наполеон и Снежок», а попросту – властолюбивые свиньи (тут сердце просто выпрыгивало из груди!). И до кружения головы завораживали какие-то уж совсем невероятные парадоксы тайной книги: «Свобода – это рабство!», «Война – это мир!»... «С ума сойти, да что же это за книги такие?» – вываливался я, будто пьяный, из кабинета. Да кто же он, этот автор, этот «таинственный призрак»?..

Лишь с годами узнавалось: Оруэлл – великий английский романист, на родине уже выпущены 20 томов его сочинений, он переведен на 65 языков, по книгам его давно и не раз поставлены фильмы, а сам он включен даже в школьные программы Англии и Америки. И, наконец, что он со своими атомными книгами давно стал своеобразным паролем думающих людей, знаменем сопротивления любой власти, даже Дон Кихотом униженного и оскорбленного человечества.

О нем, об Оруэлле, написано сегодня много больше его собственных томов. Дня не проходит, чтобы мировая пресса не использовала бы его мысли, слова, тавровые термины, касающиеся всего и вся – от глобальной политики до компьютерной преступности. «Большой Брат», «полиция мысли», «новаяз» – эти слова звучат ныне и громче, и актуальней, нежели в его время. Но и он, и его жизнь, и даже репутация его после смерти – всё и поныне противоречиво и имеет двойной, если не тройной смысл. Он не вмещается ни в одну из одежд даже признанных пророков XX века. Ни в белую хламиду Махатмы Ганди, ни в цивильный костюм Жан-Поля Сартра, ни в полувоенный френч Солженицына, ни даже в цветастые жилетки соотечественника – фантаста Герберта Уэллса. «На него, как на “своего”, претендовали... все, – написал А.С.Кустарёв, один из русских исследователей писателя. – Консерваторы-традиционалисты и неоконсерваторы. Правые и левые либералы. Демосоциалисты, еврокоммунисты, анархисты, персоналисты, гуманисты. Даже католики... В советском обществе Оруэлл был святым в диссидентских кругах. В последний момент перед перестройкой в культе Оруэлла попытались принять участие даже... традиционные коммунисты... Это не делает чести претендентам, – заканчивает Кустарёв, – но делает честь самому Оруэллу». Оруэлл и сам сказал как-то, что верным признаком значения писателя может быть то, «сколь много людей из соперничающих лагерей жаждут привлечь его на свою сторону». Да, он был, если можно так сказать, сплошным «анти»: первый роман его стал антиколониальным, первая книга о войне – антимилитаристской, первая сказка – антикоммунистической. Он весь состоял из противоречий, и вся жизнь его – в этом и трудность пишущих о нем – состояла из несопоставимостей. Учился в аристократическом Итоне, но был весьма скромного происхождения; служил полицейским в Бирме, но был до мозга костей интеллигентом; звал очистительную революцию на чопорную Англию, но сам же и разоблачал ее; боролся с капитализмом, но, как выяснилось после смерти его, лично сдавал «капиталу» тех, кто сочувствовал коммунизму. Он предвидел даже нынешнюю «сексуальную революцию»: и гомофилию, и гомофобию, все эти браки лесбиянок и «голубых», педофилию и легализацию инцестов. «Мы отменим оргазм, – говорил главный иезуит его последнего романа О’Брайен. – Наши неврологи работают над этим...»¹ То есть еще в 1940-х предупреждал: «Сексология – это форма вмешательства “маленьких братцев” в интимную жизнь... идеология, разрушающая утопию интимной жизни – сокровенную мечту человечества». Наконец, романы писал о простых и для простых людей (он хотел сделать прозу «прозрачной, как оконное стекло»), а очерки и эссе, коих набралось на двенадцать увесистых томов, – о сложных и высоких темах... «Пессимизм разума, который способен понимать всю трагичность человеческой природы и всю безнадежность усилий жить по правилам, и, – как

¹ Здесь и далее все цитаты из романа Дж.Оруэлла «1984» и сказки «Скотный двор» даются в переводе Д.Иванова и В.Недошивина (См.: *Оруэлл Дж. Проза отчаяния и надежды. Роман, сказка, эссе. Л.: Лениздат, 1990*).

заметил один ученый-социалист, – оптимизм воли». Сплошные противоречия. И главное из них – противоречие между Человеком и Богом: «Может ли человек, не любящий ближнего своего, которого он видит, любить Бога, которого он не видит?..» Разве это не касается каждого?..

С моей стороны братья за книгу об Оруэлле – чистой воды авантюра. На Западе о нем изданы десятки книг, в том числе биографий, среди которых семь, без сомнения, выделяются: «Кристалльный дух» Дж.Вудкока (1966), «Неизвестный Оруэлл» П.Стански и У.Абрахамса (1972), «Джордж Оруэлл: жизнь» Б.Крика (1980), «Оруэлл: официальная биография» М.Шелдена (1991) и опять – «Джордж Оруэлл: жизнь» Д.Дж.Тейлора (2003), «Оруэлл» С.Лукаса (2003) и «Джордж Оруэлл» Г.Боукера (2003). Правда, по замечанию одного из биографов, Тейлора, несмотря на уйму материалов о нем, многое в жизни Оруэлла до сих пор пестрит белыми пятнами, или, как выразился Тейлор, «несудожно». А ведь помимо биографий, об Оруэлле написаны десятки воспоминаний родных, близких женщин, коллег и соратников, и одни из лучших – его давними друзьями Ричардом Рисом, Малькольмом Маггериджем и Тоско Файвелом. Кроме того, в 1998-м профессором Питером Дэвисоном было издано сначала полное собрание сочинений Оруэлла в двадцати томах, потом, в 2009-м, – его дневники, а затем, в 2013-м, – собрание писем. Наконец, о нем написан Дэвидом Каутом просто настоящий роман, *поставлена, вообразите, опера по его последней книге и даже создано продолжение «Скотного двора»*. Четыре раза экранизировали роман Оруэлла «1984» (в 1956, 1970, 1984 и 2009 годах) и дважды – «Скотный двор» (в 1954 и 1999 году). *Я уж не говорю о сотнях исследователей, писавших о нем: о Д.Роддене, К.Хитченсе, Д.Мейерсе, Р.Хоггарте, Д.Стрейчи, Р.Левисе и П.Хубере, Д.Колдере и С.Уэдхэмсе, Б.Оксли и Р.Ли, К.Олдритте и С.Гринблатте, Х.Уильяме и У.Стейнхоффе, и скольких еще...* У нас, впрочем, если не считать статей о нем, а также докторской диссертации «Проза Джорджа Оруэлла. Творческая эволюция» В.Г.Мосиной (Науменко) и сборника работ о писателе блистательной В.А.Чаликовой, к сегодняшнему дню вышла лишь одна книга о нем: «Джордж Оруэлл (Эрик Блэр). Жизнь, труд, время», которую в 2014 году выпустили Ю.Фельштинский и Г.Чернявский.

Вообще, если разбираться строго, писать биографии – дело безнадежное. Биографический жанр, как заметил один из профессионалов, – это «профессия-наука-искусство невозможного». А Клод Леви-Стросс, признавая некие достоинства биографий, писал, что «выбор, стоящий перед историком, всегда один... – история, которая больше сообщает, нежели поясняет, или же история, которая больше поясняет, нежели сообщает». Вот между этими жерновами жанра и хотелось бы уместиться. А соль характера искать как раз между «донкихотством» Оруэлла и несовместимым с ним здравым смыслом, которым Оруэлл, пишут, обладал «в изобилии». Он ведь, этот старомодный человек, чьи тонкие, будто нарисованные карандашом усики и твидовое «обмундирование» придавали ему вид отставного полковника, был, как пишут, и Дон Кихотом, и – одновременно – Санчо Пансой. И, несмотря на старомодность и выцветшую академичность, оказался настолько впереди своего времени, что мы лишь сейчас «догоняем» его. Да и догоняем ли?..

Наконец, второй задачей, кроме рассказа о «русском Оруэлле», была попытка выявить и показать явную связь между писательством его и реальной борьбой с миром. Казус Оруэлла. Писатель – и воин.

Эта книга, если можно так сказать, с «открытым финалом». Об Оруэлле и напишут, и переведут на русский не одну еще биографию и не одно исследование. Он долго будет актуален. Мир, который он воображал и описывал, уже реально бушует вокруг нас, и ныне нам всё понятнее «парадокс Оруэлла»: то, что он вечно выступал в поход против социализма, будучи вечно уверенным как раз в конечном успехе его. Да, мы четко видим сегодня то, что он предсказал еще в 1941-м, – тот исторический «курбет», в силу которого движение к диктатуре даже в свободных, казалось бы, странах начнется не во времена упадка, а «в момент наивысшего

материального прогресса», и не потому, что «прогресс покажет свою изнанку», а из-за особенностей психической природы «лидеров прогресса» – людей особо сообразительных, умелых, практичных, властных и жестоких, для которых смысл жизни – в том, чтобы утвердиться в своей власти. А если учесть, что литература и самый дерзкий ее жанр, утопия, имеет обыкновение со временем менять свое значение и субъективную цель автора, что будущее книг-предсказаний часто меняет «адреса» прогнозов, то число русских книг о нем, думаю, будет только возрастать...

И последнее. Если помнить, что Оруэлл писал роман «1984», как бы споря с грядущим, то мне показалась небезынской идея «уложить» иные его статьи, эссе и письма в форму воображаемых интервью с ним. Ведь и сам Оруэлл, работая на «Би-би-си» в 1942-м, «опробовал» этот редкий и необычный жанр: «побеседовал» в эфире со своим давно усопшим кумиром – Джонатаном Свифтом. Вот и подумалось: пусть и в этой книге «спорят» настоящее время и время прошлое, год нынешний – и годы жизни самого Оруэлла. Тем более что статьи его, рецензии, выступления компактно не перескажешь, а если и попытаешься это сделать, то любой читатель, при всем моем уважении к нему, невольно заскучает или – того хуже – просто перелистнет их. Другое дело – воображаемая, но «живая» беседа с писателем. Вопросы будут задаваться мной как бы «из сегодня», а ответами – по сути, прямой речью писателя, точной до запятой, до последней буквы, – станут цитаты Оруэлла.

Вопрос из будущего: XX век – век противоборства идеологий. Капитализм, коммунизм, фашизм, демократия, рождение экуменизма, феминизма, глобалистских идей – всё сконцентрировалось в нем. Вот и вопрос: кто вы, Джордж Оруэлл? Империалист, служивший в колонии Англии, либерал, социалист, демократ – или кто?

Ответ из прошлого: Я типичный представитель среднего класса... Все мои понятия – о добре и зле, приятном и неприятном, смешном и серьезном, красивом и безобразном – в сущности, понятия буржуазные. Мои вкусы в литературе, еде и одежде, мое чувство чести, мои манеры за столом и мои обороты речи, даже моя походка и жестикация сформированы определенным воспитанием, определенным положением где-то чуть выше середины на социальной лестнице. И если я это понимаю, хлопать пролетария по плечу и сообщать ему, что он такой же славный мальчик, – пустое дело...

В.: Но вы человек пишущий, как говорится, человек «с перышком». Как вам удалось в разрываемом противоречиями веке, между партиями «тех» и «этих» остаться и сторонником иных идей, и – одновременно – судьей их?

О.: Если свобода что-нибудь да означает, она означает право говорить людям то, что они не хотят услышать... Заменить одну «правильную» точку зрения на другую – это еще не... шаг вперед... Самый худший враг, с которым... сталкивается писатель или журналист, – это интеллектуальная трусость...

Вот такие «разговоры» с писателем и будут сопровождать рассказ о нем. Надеюсь, они помогут не просто нащупать дорогу к Оруэллу-человеку, но и найти ту почти невидимую «тропку» от анализа им тех или иных великих проблем к анализу его души.

А вообще, заканчивая вступление, хотелось бы привести одно парадоксальное и довольно ироничное высказывание Оруэлла. Он в последней статье перед смертью, в размышлениях о жизненном пути Махатмы Ганди – авторитета для него – написал: «Святых надо всегда считать виновными, пока не доказана их невиновность»...

Что ж, отличное напутствие для книги о Святом Джордже, Джордже-Провидце и Джордже Мудром! Для доказательства уникальности жизни борца-писателя и творчества его – писателя-борца.

Часть первая.

«Незнание – это сила»

Глава 1.

Семейная Библия

1.

Гроб был слишком длинным, и было очень холодно. 26 января 1950 года; день был морозным – Лондон, говорят, лежал «в тисках зимы».

Хоронили Оруэлла в четверг. А за пять дней до этого, в ночь на 21 января, он, как напишет потом его приемный сын, прямо в кровати «утонул в луже собственной крови». Умер без свидетелей. Жена, Соня Браунелл, поцеловав его за пару часов до этого, упорхнула в ночной клуб, где ее ждал с приятелями бывший любовник. Вряд ли успела выпить или потанцевать, ибо после полуночи ее вызвал к телефону дежурный врач госпиталя и сообщил: ваш муж умер от легочного кровоизлияния, от остановки дыхания. «Туберкулез», – так запишут в свидетельстве о смерти писателя...

В заиндевшую, неотапливаемую церковь Христа на Олбани-стрит, которая и ныне стоит неподалеку от Риджентс-парка (неприметный храм серого камня, два чахлая деревца по тротуару рядом – и пяток мусорных бачков у стены), где преподобный Роуз отпевал писателя, пришло не больше трех десятков человек. Всего! Нет-нет, друзья сделали всё что могли: в Швейцарии в горном санатории было заказано место, у Сони был забронирован частный самолет, а из США, через знакомых, к нему летело редкое лекарство, «американское чудо» – ауреомицин. Наконец, ему была подарена даже удочка с какими-то прибабасами – она так и стояла в ногах больного, – он ведь был страстный рыбак. Удочкой да початой бутылкой рома под кроватью он даже слегка бравировал. Живем, дескать! И вот – всё стало ненужным, а подтягивающиеся к церкви друзья выглядели «изумленно-потерянными».

Первой на такси подъехала младшая сестра Оруэлла Эврил (она слышала о смерти брата по радио за многие километры от Лондона, на острове Юра, и едва успела на похороны). Ее подвез близкий друг Оруэлла Дэвид Астор, редактор влиятельной газеты *Observer*, тот, который не без труда и подыскал накануне церковное кладбище в деревне Саттон Коуртенэ при храме Всех Святых на крутом берегу Темзы. А кроме этих двоих к церкви подошли издатель Оруэлла Фред Варбург и его адвокат Роджер Сенхауч, близкие и давние друзья Малькольм Маггеридж, Энтони Пауэлл, который вспомнит похороны как одни «из самых душераздирающих». Наконец подъехала и вдова, Соня Браунелл, – «эффектная блондинка» с залитым слезами лицом, которая от горя «мало что понимала». И тихо стояла в углу женщина, которую никто не знал и которая не видела Оруэлла больше тридцати лет. Это была Джасинта Баддиком – давняя юношеская любовь Оруэлла, с которой он расстался после ссоры. Та Джасинта, про которую он никогда не забывал и, как успел признаться в одном из предсмертных писем, изображал в своих книгах «разные черты ее, какие запомнил». Она же, читавшая книги Оруэлла, но лишь за год до его смерти узнавшая, что это и есть «ее Эрик», напишет потом подруге, что Джулия в романе «1984» – «это явная я», а «лесистая долина, полная колокольчиков», где герои романа поцеловались, – это их «особое место», ну, то, помнишь, «в Тиклетоне...». Впрочем, дочитав роман, не только вновь рассердится на него, но даже не ответит на последнее письмо, посчитав,

что судьба Джулии в книге – «не иначе как акт мести его». Но попрощаться – придет, хотя на кладбище уже не поедет. То ли из-за воспоминаний, то ли все-таки из-за мороза...

На кладбище вообще поехали только трое: вдова и Дэвид Астор с адвокатом. Провожал покойного в храме Всех Святых преподобный Гордон Дунстан. Покончив с формальностями, деловито попросил всю «небольшую нашу компанию» (это в точности слова викария) выйти наружу. Вот там Астор и увидел еще одного свидетеля похорон. Рядом с погостом стояло здание какой-то госслужбы, занимавшейся тестированием проб воды из Темзы. Так вот, некий научный по виду сотрудник этого заведения так и простоял на морозе в белом халате, куря сигарету за сигаретой. Астор пишет, что эта сцена ужасно напомнила ему роман «1984», хотя зевая, возможно, лишь дивился длинному ящику с мертвецом и гадал: влезет ли он в приготовленную для него яму? Оруэлл ведь был больше шести футов, под два метра. Его и звали всю жизнь «дылда» да «долговязый». Будто сами небеса позаботились, чтобы он, возвышаясь над толпой, мог бы всё замечать сверху, «выискивать как можно больше недостатков...».

Похоронили писателя между могилой Герберта Асквита, премьер-министра времен Первой мировой войны, и захоронением каких-то местных цыган. Других могил на погосте не оказалось. Как заметит один из биографов Оруэлла, это окажется символом жизни новопреставленного: «Лежать между либералом XX века и вечными бродягами по жизни – цыганами». Не без грусти добавит: навещать погост «глазеющая публика» будет исключительно из-за могилы премьер-министра, едва ли обращая внимание на какого-то «Блэра». Ведь на могильном камне Оруэлла (это было оговорено в завещании) значилась лишь одна фраза: «Здесь лежит Эрик Артур Блэр, родился 25 июня 1903, умер 21 января 1950». «После смерти он хотел вернуться к имени, которое носил до того, как рука славы коснулась его», – красиво скажет Майкл Шелден, биограф его.

А вообще знамений, знаков, символов, связанных с его смертью, набралось предостаточно. Ну не знак ли, что прощались с Оруэллом в случайно выбранной лондонской церкви, покровителем которой, как выяснилось, оказался святой Георгий? Что хоронил его представитель знаменитого рода Асторов, а сам писатель умер, как отметит в дневнике его приятель Энтони Пауэлл, «в день смерти Ленина». Невольное это «соседство» – Асторов и Ленина, подчеркнет Пауэлл, – охватывало «весь диапазон жизни» Оруэлла. А с наследником Ленина Сталиным Оруэлл вообще не расставался все последние годы. Друзья видели, что на тумбочке в 65-й палате до последнего дня лежали не только пара романов Томаса Харди и Ивлиана Во, но и какие-то книги о Сталине. И, наконец, разве не знак желание атеиста Оруэлла быть похороненным по обрядам христианской церкви? Ведь как раз Библии ни в день смерти, ни раньше у кровати его вот как-то «не лежало». И вряд ли кто вспоминал строчку его давних стихов, где он говорил, что мог бы «стать священником», что было у него такое желание, как и у деда его. И уж совсем никто не знал – разве что первая покойная жена, – что дома у него – этого насмешника, ирониста, скептика, даже циника порой – Библия все-таки была. Что он перевозил ее из дома в дом и даже хранил на особой полке.

Семейную Библию, реликвию XVIII века, которую Блэры передавали из рода в род.

2.

– Эрик! Эрик! – кричала вслед ему Айда, его мать. – *Be careful!* Будь осторожен!..

А он сначала медленно, а потом все быстрее гнал под горку свой допотопный велик. Что с того, что седло без амортизации врезалось в тощий мальчишеский зад, а брошенные педали бешено крутились под ним! Зато каким блаженством было задрать ноги вверх – и нестись навстречу стене ветра...

Так он изобразит себя, десятилетнего, в четвертом своем романе, который так и назовет – «Глотнуть воздуха». А ведь тогда, в 1913-м, и Первая мировая не началась еще, и было

лето, и были первые каникулы, и встречный ветер, раздувавший короткие штанишки, и воздух свободы – столько воздуха, что можно задохнуться.

Мгновения, секунды осознанного счастья – они потому и остаются в памяти, что в любой жизни случаются нечасто. Он ведь напишет потом, что счастье могут испытать лишь те, «кто не делает его целью». А он и не ставил такой цели, скорее наоборот, искал страданий и бед. В лучшем случае – опасных приключений. Его друг Ричард Рис в книге о нем, которую назовет «Беглец из лагеря победителей», напишет, что его «никогда не покидало мальчишеское тяготение к приключениям – опасности и лишения представлялись ему неодолимо соблазнительными». А другой приятель, Пол Поттс, после смерти писателя так и назовет воспоминания о нем – «Дон Кихот на велосипеде»...

Да, была в его жизни Золотая Страна детства – эти два слова с большой буквы не раз всплывут даже в последней, кошмарной книге его. «Вдруг он увидел себя, – напишет, – на молодой зеленой траве. Был летний вечер, и под косыми лучами солнца земля казалась золотой. Ему так часто снилось это место, что он не мог уверенно сказать, видел он его в жизни или нет... Это был старый, выеденный кроликами луг... За полуразрушенной изгородью на противоположной стороне ветви вяза качались на легком ветру, и их густая листва чуть шевелилась, как женские волосы. Где-то рядом... протекал чистый ручей, в заводях которого под ивами плавала плотва...»

Вопрос из будущего: *Эта листва, которая «как женские волосы», – неплохая, по-моему, метафора. Вы ведь рано решили стать писателем?*

Ответ из прошлого: *Лет с пяти-шести... То ли в четыре, то ли в пять лет я сочинил свое первое стихотворение; мать записала его... Я совсем не помню его; помню лишь, что оно было про тигра, а зубы тигра были как «стулья»... Мне кажется, стих был плагиатом блейковского «Тигр, о тигр»...*

В.: *Да, вы говорите об этом в заметке «Почему я пишу». Но что было мотивом, причиной писательского выбора?*

О.: *Инстинкт, который заставляет младенца кричать, привлекая к себе внимание... Желание известности... Исходный рубеж для меня – всегда ощущение причастности, чувство несправедливости...*

В.: *Ричард Рис утверждал, что в год вашего рождения в Британии четко просматривались три класса: высший – «дворянство», средний класс и – очень большой – низший. «Благородными» и «джентльменами» чаще называли только представителей высшего класса. Про других говорили: «джентльмен по натуре». Но про вашу семью Рис пишет определенно: она относилась скорее к дворянскому, чем к буржуазному классу. Хотя ваши предки даже земель не обладали?*

О.: *Землей... не владели, но ощущали себя земельной знатью от Бога, предпочитая набор благородных джентльменских профессий вульгарной торговле... У мальчиков было когда-то в обычае над тарелкой с десертом гадать о своем будущем, считая изюминки пудинга: «Солдат, моряк, юрист, священник»... Принадлежать к этому социальному кругу, когда у тебя только четыре сотни годовых, штука сомнительная, ибо тут твой аристократизм исключительно в теории... Ты знаешь, как одеваться и как заказывать обед, хотя на практике никогда не можешь пойти к приличному портному или в хороший ресторан. Знаешь, как охотиться верхом, хотя отроду не владел ни лошадью, ни дюймоном охотничьих угодий. Понятно, чем привлекала Индия... людей «верхне-среднего» слоя. Служить в колониях уезжали не наживаться... а потому, что в Индии... так просто было исполнять роль джентльмена.*

В.: Самообманываться? Ведь без денег «держат фасон» на родине было, видимо, трудно.

О.: Фактически все деньги уходят на соблюдение приличий. Ясно, что люди этого разряда существуют в ложном положении... Это большинство священников и педагогов, почти вся братия чиновников англо-индийской администрации, легион офицеров... Глядя правде в глаза, необходимо признать: ликвидация классовых различий означает ликвидацию существенной части самого себя...

В.: И – если забежать вперед – вы решились на это?

О.: Заявить о стремлении избавиться от разделяющих классовых особенностей легко, но почти всё в моем мышлении обусловлено именно ими... Требуется не только подавить собственный социальный снобизм, но заодно отказаться от множества личных вкусов и пристрастий. Во имя избавления от гнусной социальной розни мне в конце концов придется измениться буквально до неузнаваемости...

Это еще будет в его жизни! Но что всё же запомнилось мальчику, обреченному по рождению быть «джентльменом по натуре»? Да ничего особенного. Вылазки с матерью за ежевикой, за орехами, дикими фруктами для домашнего вина; гребля на лодке по Темзе (он в семь лет попросил мать записать его в какую-то Лигу военно-морского флота и купить бескозырку с надписью «Непобедимый»); помощь каменщикам, строившим дом по соседству, которые давали ему возиться с раствором и от которых он подхватил первое крепкое словцо; ломти хлеба с маслом, которые, благодаря сорванному щавелю, превращались во вкуснейшие бутерброды; наконец, походы с ровесниками к мельничному пруду, где водились тритоны и крошечные караси; и долгое стояние на обратном пути у витрины кондитерской, находившейся на краю городка, куда «влекло волшебной силой» и где за фартинг можно было купить и тянучек, и ликерных бомбочек, и кулек попкорна, и даже «приз-пакет», в котором среди конфет счастливым доставалась свистулька. Но главной страстью была, конечно, рыбалка. «Господи, – вспомнит он, – даже охотничьи мелкашки... не волновали меня так, как рыбацкая снасть. Я и теперь могу перечислить модели всяких нитяных или синтетических лесок, “лимерикских” крючков, “ноттингемских” катушек и прочих прелестей». Ну кто после этого скажет, что у него было несчастливое детство? Один из друзей назовет его даже «особо счастливым». Однако, как заметит Оруэлл, всё и всегда у детей переплетено: радость и мучения, стыд и гордость, смелость – и отчаянная трусость.

«Мне шесть лет, – пишет о первом знакомстве с законом, – и я иду по улице нашего маленького городка с матерью и местным богатым пивоваром, который также является и мировым судьей. Выкрашенный смолой забор покрыт рисунками, сделанными мелом, некоторые из них принадлежат мне. Судья останавливается, указывает на них тростью и произносит: “Мы собираемся поймать тех ребят, которые рисуют на стенах, и собираемся назначить им Шесть Ударов Березовой Розгой”. (В моем уме всё наказание отразилось буквально заглавными буквами.) Мои колени подгибаются, язык прилипает к нёбу, и я в первый же удобный момент ускользаю, чтобы разнести страшную весть. Вскоре вдоль всего забора появляется длинная шеренга до ужаса испуганных детей, которые плюют на свои платки и пытаются стереть рисунки. Но что интересно, – пишет Оруэлл, – лишь много лет спустя мне пришлось в голову, что... никакой судья не присудил бы меня к розгам, даже если бы застал на месте преступления». Но урок получен: законы и судьи станут для него, несмотря на всю радикальность его, почти святы.

А безгласность, а снобизм, а презрение к «низшим классам»? Он же помнил себя в тринадцать в том вагоне третьего класса. «Вагон был битком набит распродавшими свою живность свинарями. Кто-то достал и пустил по кругу кварту пива; бутылка переходила от одного рта к

другому... Не могу описать ужас, нараставший во мне по мере приближения той бутылки. Если настанет и моя очередь глотнуть из горлышка, побывавшего в *их* губах, меня, я чувствовал, непременно стошнит; с другой стороны, если предложат, я не осмелюсь отказаться из опасения оскорбить этих людей. Типичная дилемма буржуазного чистоплюя. Теперь-то, слава богу, – вздыхал уже известный писатель, – таких мук я не испытываю... Мне по-прежнему не нравится пить из стакана после других (других мужчин; относительно женщин я не против), но вопрос классовых различий тут абсолютно ни при чем... Снобизм ведь связан с... воспитанием, при котором ребенку одновременно внушается необходимость мыть шею, готовность умереть за родину – и презрение к “низшим классам”».

Первый урок такого презрения он тоже получил в детстве – когда предал маленькую девочку, дочь водопроводчика. Случай, который, на мой взгляд, и определил его судьбу, повлиял на всю будущую «личную идеологию» его. Так, например, считала и В.А.Чаликова, первой в нашей стране подвергшая анализу истоки его «справедливости». Это она сказала мне – беседу нашу опубликовала «Иностранка»², – что у Оруэлла есть даже какой-то стих про эту девочку из его детства.

Была ли эта девочка первой неосознанной любовью Оруэлла? Не знаю. Просто именно с детьми соседа-водопроводчика Эрик, у которого до пяти лет не было друзей, и сошелся. С этим «дружественным племенем» он разорял птичьи гнезда, живодерски надувал велосипедным насосом жаб, пока их не разрывало (добрые дети!), лазал через заборы и удил плотву. А еще – играл «в больницу», что требовало, как вы понимаете, обоюдных раздеваний. «В то время я был существом бесполом, – вспоминал, – а потому и знал, и не знал так называемые “факты жизни”... Помню, при игре “в доктора” я ощутил слабый, но, безусловно, приятный трепет, выслушивая дудочкой, изображавшей стетоскоп, живот маленькой девочки». Ю.Фельштинский и Г.Чернявский в биографии Оруэлла пишут, что он через годы рассказывал сестре Эврил вещи и похлеще: не только про игру в «докторов», но про игру в «мужа и жену». «При этом Эрик впервые, вначале на вид, а потом и на ощупь познакомился с физическими отличиями мальчиков и девочек. Старшие дети вразумительно объяснили ему, чем и как занимаются взрослые в постели (слесарь со своей супругой занимались сексом на глазах у детей). Но из попытки семилетнего Эрика и его чуть старшей подружки перейти от изучения интимных частей тела друг друга к их соединению, – заканчивают биографы, – ничего не вышло: они были еще слишком малы...»

Я не стал бы писать об этой девочке, если бы Оруэлл раз от разу не возвращался к этой «неравной дружбе». Не первый секс-опыт волновал его – первое предательство. Когда мать, узнав, с кем он водится, запретила ему встречаться с этими детьми, он не только послушался ее, но, встретив «подружку-жену», прямо сказал ей: «Я не буду больше играть с вами, мама сказала, что вы “простолюдины”». И, судя по дальнейшей жизни, стыдно от этого стало не детям – самому писателю. Именно это и перевернуло его сознание, разбудив в нем впервые чувство «равенства-неравенства»...

Я нашел то стихотворение, о котором говорила Чаликова. Удивительно, но оно было записано в его последнем, предсмертном блокноте. Вспоминал... В стихотворении был май того года, девочка, «которая показала ему всё, что у нее было», – и честные строки о том, как он сделал «ту роковую вещь», сказал детям: «Вы простолюдины». «С того майского дня, – пишет он, уже проживший жизнь, – я никогда и никого не любил, / Кроме тех, кто НЕ любил меня». И последний заданный им вопрос «в рифму», как вопрос в вечность, – «Так какая же мораль у этой истории?...».

А и впрямь: какая? Но случай этот в его «счастлимом детстве», на мой взгляд, оказался действительно счастливым. Для нас, для читателей – счастливым!

² См.: Недошивин В.М., Чаликова В.А. Неизвестный Оруэлл // Иностранная литература. 1992. № 2.

3.

Знамений, связанных с мигом его рождения, кажется, не было. Ну разве что в тот год Индию единственный раз посетил сам принц Уэльский. Оруэлл родился в Индии, в Мотихари, где служил его отец, в маленьком городке на границе с Непалом. Глухой угол Британской империи, связанный с центром Индии узкоколейкой. Эрик проживет там всего год, пока мать его, полуфранцуженка Айда Мейбл Лимузин, не подхватит его в охапку со старшей сестрой Марджори и не вернется в метрополию. Он не запомнит даже пути через два океана. Да и что могло запомнить дитя: вкус кокосового молока, которым, возможно, обмазывали его губы, разжеванную матерью мякоть банана, обжигающее солнце Индостана и далекие крики неведомых зверей, впервые услышанные им? Саму Индию он, как и все только что родившиеся младенцы, увидел впервые вверх ногами. Но ровно через двадцать лет – тик-в-тик – увидит эту «экзотику» в реале: сам окажется в Индии, поедет служить туда в качестве суперинтенданта Имперской полиции Индии. Будет служить и в Мотихари, в местечке, где появился на свет. Но фактически, если объективно, станет колонизатором, почти «плантатором», как его прадед. И хотя семейная Библия еще не перешла к нему по наследству – жив был отец, – но историю рода своего он уже знал.

* * *

Комментарий: Война идей и людей

«Запад есть Запад, Восток есть Восток...» – эти стихи Редьярд Киплинг написал, когда слова «империя», «колония», «доминион» и «метрополия» почти никем не осуждались. Это было нормой для Англии – «владелицы мира», «государства, – как красиво называли его британцы, – над которым никогда не заходит солнце», страны, господствовавшей над четвертью человечества. А «жемчужиной короны» и Первой, и Второй Британской империи была, конечно, Индия. Независимой, свободной она станет – невероятно! – только в 1947 году, за три года до смерти Оруэлла. А ведь с ней была не только связана жизнь его отца и одного из дедов, но и вся, считайте, судьба писателя: он прослужил там пять лет в молодости, потом, в 1941–1943 годах, работал в индийском департаменте на радио «Би-би-си», а однажды чуть не стал ведущим редактором влиятельной газеты *Pioneer* в крупном индийском городе Лакнау. Выбивался из этого ряда лишь один предок Оруэлла – прадед его, тот вообще был рабовладельцем на Ямайке.

Ямайку Англия аннексировала у Испании еще в 1655 году. А в 1743-м там, на Ямайке, родился прадед Оруэлла – Чарльз Блэр. Известно о нем мало, разве что ему удалось удачно жениться на леди Мэри Фейн, представительнице высшей аристократии – точнее, второй дочери Томаса Фейна, «лорда и восьмого графа Уэстморленда». Прадед Оруэлла проживет семьдесят семь лет, и с него начнется и возвышение рода, и, как выразится Оруэлл, «скудеющая респектабельность» семьи, когда к концу жизни, к рождению последнего, десятого сына (он и станет дедом писателя), феодал почти разорится и оставит после себя только потемневший от времени портрет жены – леди Фейн – да старую семейную Библию.

Как ни искал я корни бунтарской натуры Оруэлла в предках, но ничего, кроме законопослушности, набожности и лояльности системе не нашел. Дед писателя Томас Ричард Артур Блэр, оказавшись лицом к лицу с неприятной необходимостью зарабатывать себе на жизнь, стал всего лишь рядовым священником. Проучившись год в Кембридже, в Пемброк-колледже, отправился служить Империи и в 1839 году в Калькутте был сначала рукоположен в дьяконы, а затем, в 1843 году, уже в Тасмании, – в священники англиканской церкви. Дед умрет, когда

Оруэллу будет десять лет. А отцу писателя Ричарду Уолмсли Блэру жизнь вообще «не сдаст хороших карт». Он, «джентльмен по натуре», станет просто чиновником – сия рать в XIX веке в Англии уже вовсю набирала силу.

Не получив серьезного образования, не имея за спиной ни частной школы, ни университета (семья сэкономила на нем, последнем отпрыске), отец Оруэлла с восемнадцати лет вынужден был «воевать за карьеру», за место в Индии; ведь именно колонии давали тот единственный «приличный выход» из затруднительного положения бедных сыновей среднего класса. Война за *Service* – за «Службу», как звали администрацию Индийского субконтинента, – шла, надо сказать, нешуточная. После проверок лояльности трону, умственного развития, даже осмотра физического состояния (уж не считали ли зубы во рту, как у рабов?) отец Оруэлла был зачислен в Гражданскую службу, где работало чуть больше тысячи человек. Разумеется, англичан в Индии было в разы больше – в полиции, в службе гражданских инженеров, охране лесов и прочих подразделениях, – но чиновников Гражданской службы, которым всё это и подчинялось, было немного: они были если не «сливками» колонии, то высшего сорта маслом, позволяющим шестеренкам власти крутиться хотя бы без скрипа.

Отец Оруэлла проведет в Индии почти сорок лет, до пенсии. Официально будет заниматься, вообразите, опиумом, служить в отделе опиумного департамента правительства Индии, где продвинется всего лишь с помощника заместителя опиумного агента третьего ранга до той же должности, но – первого ранга. Та еще карьера! Ну и, конечно, – сам опиум! Это мы вздрагиваем ныне при слове «наркотики». А в те времена разведение и торговля маком считались не просто достойным – почетным занятием. Опиум и тогда широко применялся в медицине, на чем «благородно» настаивали англичане. По большей части его производила Бенгалия, где и начал службу Ричард Блэр. К приезду отца Оруэлла в Индию производство наркотика составляло около четырех тысяч тонн в год и давало прибыль в 6,4 млн фунтов. Шутка ли, одна шестая часть правительственного дохода! Майкл Шелден, биограф Оруэлла, пишет, что «ужасная правда в работе Ричарда Блэра заключалась в том, что большую часть своей карьеры он занимался тем, что стабильно поставлял опиум миллионам наркоманов Азии». По нынешним меркам – убийца, страшный человек...

Пробовал ли отец Оруэлла сам курить те «глиняные трубочки» – неизвестно, но, думаю, жил до женитьбы, как все «белые колонизаторы». Если прямо сказать, поддерживал то фальшивое «реноме» якобы аристократа, ради которого и ехали в колонии нищие дворянские дурни. А если фальшь этого личного мотива да помножить на фальшь «опиумной политики» Англии, то станет понятно, отчего Оруэлл недолюбливал отца и противостоял ему в чем мог.

Нет, даром деньги Ричарду Блэру родина, конечно, не платила; он по шесть месяцев порой разъезжал по самым отдаленным посевам мака, где, следя за соблюдением агротехнических норм, подсчитывая объемы производства и количество транспорта для вывоза продукта, жил, по сути, в антисанитарных бунгало, а то и просто в палатках, страдая от насекомых, тропических ливней и невыносимой духоты. Но в свободное время, как и все белые люди, участвовал в любительских спектаклях, ездил на бесконечные пикники и балы, менял наложниц из местных красавиц, гарцевал на отличных лошадях, усердно молился в церквях и, если не пил, сидя в клубе под опахалами местных рабов, то галантно ухаживал за своими, за белыми барышнями. «В те годы англичане, – напишет в 1940 году Оруэлл в очерке «Чарльз Диккенс», – слагали о себе легенду как о “крепышах-островитянах” и “неподатливых сердцах из дуба”, и тогда же, – подчеркнет, – едва ли не за научный факт почиталось, что один англичанин равноценен трем иностранцам». А если, предположу, сравнить их с аборигенами Индии, то уж, наверное, и всем десяти.

Тот же Киплинг, ровесник родителей Оруэлла, подолгу живший в Индии, называл индусов «детьми природы», и порой довольно язвительно писал о них. «Во всей Индии, – говорил, – не сыщешь ни одной до конца закрученной гайки, ни одного накрепко сбитого бруса, ни одной

мало-мальски приличной слесарной работы... Всё здесь делается небрежно, бестолково, как придется. У англо-индийцев есть для этого очень выразительное слово – “кутча”. В Индии всё “кутча”, то есть сделано “с кондачка”, чего англичанин никогда не допустил бы...»

«Кутча» – занятное словцо. И чем больше я узнавал про жизнь родителей Оруэлла, тем чаще задумывался: не «с кондачка» ли и поженились Ричард Блэр и мать писателя – Айда? Поженились-то в Мотихари, в том маленьком городке, где в наши дни местный *Rotary Club* установил памятный знак на месте рождения писателя и даже собирался открыть (не знаю, открыл ли) его музей. Так вот там, в Мотихари, на балу ли, на любительской сцене или на верховой прогулке и познакомились отец писателя и будущая жена его. Ему было тридцать девять, ей – двадцать один год. А «кутчей» их союз можно было бы назвать оттого, что Айда, служившая гувернанткой в богатых семьях администраторов, была уже обручена с другим, но тот неожиданно бросил ее, и она, «сохраняя лицо», поспешно вышла за Ричарда...

Айда родилась в 1875-м, в тот год, когда будущий муж ее впервые ступил на землю Индии. Но родилась в Пендже, в пригороде Лондона, в семье англичанки и купца-француза, почти сразу увезшего их в Бирму, в Моулмейн, где у него был основанный еще отцом бизнес – торговля тиковым деревом и строительство кораблей. Там, в Бирме, отец Айды и разорится, когда неосторожно займется выращиванием риса. Тереза, жена его и бабушка Оруэлла, так и останется доживать свои дни в городке. Внук-писатель через тридцать почти лет будет даже навещать ее. Одно время и служить будет в Моулмейне, где, как напишет позже, бирманцы особо ненавидели англичан. «Никто, конечно, не отваживался на бунт, – заметит, – но, если европейская женщина одна ходила по базару, кто-нибудь обязательно оплевывал сзади ее платье красноватой бетельной жвачкой...»

Не знаю, плевались ли аборигены на подол матери Оруэлла, но из всего, что нам известно, – бирманцы, скорее, любили ее. Живая, непосредственная, оригинальная и начитанная девица, она была одной из девяти детей Терезы и, как все в семье (так вспомнит ее сестра), «росла как принцесса» – в доме бывало до тридцати слуг и не хватало разве что птичьего молока. Айда, по общему мнению, оказалась куда интересней мужа, почти старика по тем временам; а кроме того, была в ней какая-то авантюристность, видимо, унаследованная от отца. Неудивительно, что скрытая война между супругами рано или поздно, но началась. Бернард Крик, биограф, заметит, что родители Эрика вряд ли могли быть по-настоящему счастливы, но, «если бы его или ее спросили: “Счастлив ли ваш брак?”, искренним ответом обоих было бы твердое “да”». Муж был терпим, не педант и не тиран, способный ломать душу юной женщины. А жена, хоть и понимала, что могла оказаться и в худшем положении, тем не менее смотрела на него «сверху вниз» и «мало считалась со вкусами и желаниями его». «Бедный старый Дик, – сочувствовали родственники отцу Оруэлла, – если он и слышал что-нибудь от жены во время карточной игры, так это неизменное: “Дик, а ну-ка кончай свой покер”...» Ну а мне, если честно, гораздо больше об их «счастье» сказало то, что довольно скоро оба решительно завели для себя разные спальни.

Через год после свадьбы, там же, в Индии, в семье родилась Марджори Фрэнсис – старшая сестра Оруэлла, – а через пять лет, 25 июня 1903 года, на свет появился и он, Эрик Артур – именно это имя дали ему при крещении. По восточному гороскопу (а Оруэлл увлекался когда-то гороскопами) он оказался Кроликом. Но не менее крутым, чем такие же, как он, Кролики Ломоносов, Эйнштейн, Шиллер, Вальтер Скотт, Рылеев, нобелиат Джон Голсуорси, Михаил Булгаков и даже Лев Троцкий. Все окажутся бунтарями. И недаром первым словом нашего Кролика стало, представьте, прилагательное от слова «скоты» – «скотские». Факт показательный: первое слово будущего «правителя слов» – писателя.

Слово «скотские» он отчетливо произнес, когда то ли вылез, то ли все-таки вывалился в сад из окна их домика в Хенли-на-Темзе. Ему не было и двух лет – ужас! Но Айда семейное это ЧП, смеясь, назовет «подвигом», первым подвигом Эрика.

Где сама была в это время – в точности неизвестно. Но могла быть где угодно: пить чай у миссис Крукшенк, сидеть за мостиком у мирового судьи, обсуждать «права женщин» у подруги-суфражистки, проявлять стеклянные еще негативы – она увлеклась вдруг фотографией – или вообще лихо отбивать мячи на корте. Непоседливая, любопытная, с волнистым проборчиком по моде и агатовыми серьгами, она, бросив на единственную прислугу (кажется, девушку звали Кейт) шестилетнюю Марджори и полуторагодовалого сына, не раз торопилась к поезду и летела в Лондон то на «громкий спектакль» с Сарой Бернар или лекцию верховного судьи, то на могилы Диккенса и Теннисона в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства, а то и на Уимблдонский турнир, уже тогда собиравший высшее общество, «свет», к которому Айда, надо признать, тянулась.

Скажите, не любила детей? Да нет: боготворила. Когда однажды в Лондоне, развлекаясь, получила вдруг телеграмму из дома, что «бэби заболел», то уже через полчаса, запыхавшись, сидела в поезде до Хенли. Она для того и вырвалась из Индии, оставив мужа, чтобы дать детям, особенно сыну, достойное образование. И, конечно, благоговейно заботилась о его здоровье. Об этом краткий, не больше десяти абзацев, отрывок ее дневника от 1905 года.

«Понедельник, 6 февраля: ребенку нехорошо. Я послала за доктором, который сказал, что у него бронхит». «Четверг, 9 февраля: ребенок поправляется с каждым днем». И только 6 марта записывает: «Бэби вышел сегодня из дома впервые после более чем месячного перерыва». Потом он заболеет в августе, потом – в ноябре. «Так что тревоги по поводу легких Эрика, – приходит к выводу Б.Крик, – бронхиты, мучившие его всю жизнь, начались рано». А что касается дневника Айды, то он, пишет биограф, «создает о ней впечатление как о женщине, которая может очень сильно заботиться о своих детях, но не всегда бывает при них и, быть может, компенсирует это “сверхзаботой”». Оруэлл назовет это «сверхопекаемостью». Признается, что недолюбливал отца («Был долг любить отца... Но нежных чувств не питал»), а в любви матери «чувствовал себя и сверхопекаемым ею, и придушенным этим». «Придушенным» любовью!.. Так что, вывалившись из окна, он не только «проявлял» тем самым любопытство к миру, но и рвался – можно ведь и так сказать! – освободиться от присмотра, глотнуть свободы. А слово «скотские», первое слово, зная жизнь его, вообще звучит фантастично. Критик мироустройства, кажется, и не мог не начать свою жизнь с этого слова. Последняя запись в дневнике Айды так и говорит об этом. «Суббота, – пишет. – Ребенку намного лучше. Называет все “скотским”». До публикации сказки Оруэлла «Скотный двор» оставалось ровно сорок лет...

Вообще же, покинув Индию, мать Оруэлла сняла маленький домик в старинном, основанном чуть ли не в XII веке Генрихом II городке Хенли-на-Темзе в графстве Оксфордшир – в нем и сегодня чуть больше десяти тысяч жителей. Оруэлл обмолвится потом в одном из романов, что городок был полон «сонно-пыльной тишины», с единственным рынком в центре, где он ярче всего запомнил лошадей, которые, «зарывшись мордами в длинные торбы», вечно жевали свой вечный овес.

Уровень жизни семьи Блэров, конечно, резко упал: не было ни повара, ни садовника и сторожа, ни заботливых индийских «нянюшек» и вышколенных горничных. В Индии Блэры были «сахибами» – господами, – и там почти всё было сравнительно дешево; в метрополии же всё дорого, а главное – не просто. Тот же Киплинг, прямо назвав всех англо-индийцев «сущими бедолагами» (написав, что ему их «искренне жаль», ибо, несмотря на трудолюбие, «жить красиво они так и не научились»), тем не менее отметил не то чтобы бесчувственность их, но – предельную сдержанность в эмоциях. «Про человека, который заболел, даже если заболел серьезно, скажут всего-навсего: “Ему нездоровится”. Про мать, оплакивающую смерть своего

первенца, говорят, что “ей немного не по себе”... а если кто-то... совершит вдруг какой-то героический поступок, про него только и скажут: “Что ж, недурно”... Вывести англо-индийца из себя, – то ли восхищался, то ли осуждал Киплинг, – чем-то поразить его было невозможно». С этим качеством – с чувственной сдержанностью – мы еще столкнемся и у Оруэлла. Меня не раз удивит какая-то нечеловеческая глухота его, например, в дневниках, которые он начнет вести сложившимся уже человеком. Там, к примеру, вы не найдете описаний и уж тем более переживаний по поводу смерти любимой матери и даже жены. Он вообще не упомянет про эти события.

Не такой была Айда. Нет, конечно, она не работала – семья жила на деньги отца, оставшегося в Индии. Но дома, всего с одной помощницей, эта тридцатилетняя быстрая дамочка, которой хотелось еще чувствовать себя *femme libre* (свободной женщиной), сумела стать и поварихой, и садовницей, и сторожихой, да еще успевала при этом и ловко «вытирать носы детям» – воспитывать их. Более того, как дочь француза, делала всё легко и изящно. А деньги? Да плевать. Она никогда не беспокоилась о них, ибо у нее «было умение – очень французское – делать нечто большее из того, что есть». Если не могла позволить семье дорогую еду, тогда могла сойти и недорогая, но приготовленная так изобретательно, что Рут Питтер, поэтесса, подруга Марджори, и через много лет вспоминала Айду как хозяйку, что подавала на стол «капусту “*en casserole*”, со вкуснейшей приправой, которая совсем не походила на капусту “*a l’anglaise*” (“по-английски”); ее бритты варили-варили и вываривали до полной потери вкуса». У Айды вообще было врожденное умение «управляться с делами». Кое-что из этого унаследует и Оруэлл: он так же будет выращивать розы и картошку, переплетать книги в своей трепаной библиотеке и даже столярничать, когда заведет в одном из подвалов собственную мастерскую.

Через много лет он как-то небрежно заметит, что жил в детстве в «благородной нищете». Слова эти можно перевести – и переводят – и как в «благородно-обедневшей» семье, и даже (если по словарям) как в семье, «пытавшейся скрыть, замаскировать свою бедность». Но среди родни писателя слова его о «благородной нищете» вызвали едва ли не возмущение. Племянница Оруэлла Джейн Морган, дочь его старшей сестры, уже в 1976-м, в письме к Бернарду Крику, биографу, гневно напишет, что они, родственники, «всегда отвергали это представление Эрика». Напишет, что Айда, ее «бабушка Блэр», и в Хенли-на-Темзе, и потом, в 1920-х в Саутволде, была все той же «полуэмансипированной, полуартистичной натурой», которая держала свой дом «комфортабельно и очень ухоженно». Дом был «весьма экзотичным, – пишет Джейн. – Мебель была, может, и подержанной, но по большей части из красного дерева. Радужные шелковые занавеси, масса стульев с вышивкой на матерчатых вставках, подушечек для булавок, шкатулок из слоновой кости, наполненных блестками, игольниц, бусин из сердолика и янтаря из Индии и Бирмы. Всё завораживающее детей... Бабушка и тетя Эврил (сестра Оруэлла. – В.Н.) завтракали в постели. Чай *Earl Grey*, тосты, джем... Но особенно нас интриговало, что рядом, на постели, сидели при этом и две таксы...»

А еще и племянница, да и сам Оруэлл вспоминали потом, что Айда и подруги ее, обсуждая что-либо, попросту сплетничая за чаем, ужасно отзывались о мужчинах. «Эти животные, знаете, что они натворили? – округляли глаза. – Это и показывает, какие скоты эти мужчины... Конечно, она слишком хороша для него...» Так что, пишет Крик, можно не сомневаться, «от кого “бэби Эрик” выучил свое первое словцо». Хотя это еще полбеды. Хуже, что, любя мать, Эрик именно из этих подслушанных разговоров, из огульного осуждения мужчин вывел, что является «нежеланным ребенком»: он же мужчина. Это стало для него аксиомой: «Женщины не любят мужчин и смотрят на них как на неких больших, уродливых, вонючих и смешных животных, – вспоминал. – И не ранее, чем мне исполнилось тридцать, – закончит не без печали, – меня вдруг поразило, что в действительности я был для матери самым любимым ребенком». Не отсюда ли, рискну спросить, его скрытность, замкнутость, вечный «уход в себя»,

застенчивость и неумение найти верный тон в отношениях с женщинами – этими «существами высшего порядка»...

Отца недолюбливал, а мать любил, но пишет, что «даже ей не доверялся... застенчивость принуждала прятать большинство глубоких переживаний». Отца, по сути, увидит впервые в четыре года. Тот приедет в единственный отпуск на три месяца в 1907-м, после чего и родится младшая сестра Оруэлла – Эврил. Смешно, конечно, но, как дословно пишет племянница Оруэлла, отец его тоже «как-то “выпадал” из дома». Не «из окна» – из стиля семьи. Позже и Оруэлл заметит про отца: «Как было не стыдиться такого – поникшего, бледного, очень сутулого, плохо, совсем не модно одетого? От него так и веяло тоской, беспокойством, неудачей. Он был для меня престарелым занудой, хмуро ворчавшим постоянно: “Нет, нельзя”...»

Короче, всё в семье, начиная с брака отца и матери «с кондачка» и кончая даже «именем» нового, более просторного дома – «Скорлупа ореха», в который Айда с детьми переехала там же, в Хенли-на Темзе, в 1905 году, все те противоречия и «нестыковки», которые зорко наблюдал мальчик, неумолимо питали и в конечном счете воспитывали в нем некую двойственность. Ему «не хватало равновесия, и это, возможно, объясняет как его двойственное отношение к своему детству, так и причудливое смешение в нем отстраненности и общительности... – пишет биограф. – Я полагаю, – заканчивает, – что многие “пунктики” Эрика порождены тем, что он думал, что обязан любить ближних, но при этом не мог даже легко раговаривать с ними». И главный «пунктик», заметим, – неосознанная обида на всё, что ощущалось именно как «скотское».

«Он был весьма неприятным толстым маленьким мальчиком с постоянными обидами», – скажет про семилетнего уже Эрика Хэмфри Дакин, сын семейного доктора Блэров, который женится потом на Марджори, старшей сестре Оруэлла. Заводила окрестных пацанов, Хэмфри весьма неохотно брал в компанию будущего писателя. «Он слишком чувствительный и слабый... Опять будет плакать и скулить, что никто его не любит», – кривился он. Но брал ради Мардж.

«В семье я был средним из трех детей, но между нами было по пять лет разницы, а кроме того, до восьмилетнего возраста я почти не видел своего отца, – напишет Оруэлл за три года до смерти. – В силу этих и некоторых других причин я рос довольно одиноким ребенком и быстро приобрел некоторое неприятное манерничанье, которое... отталкивало от меня товарищей... И, думаю, с самого начала мои литературные притязания были замешаны на ощущении изолированности и недооцененности. Я знал, что владею словом и что у меня достаточно силы воли, чтобы смотреть в лицо неприятным фактам, и я чувствовал: это создает некий личный мир, в котором я могу вернуть себе то, что теряю в мире повседневности. Тем не менее том серьезных (то есть всерьез написанных) произведений моего детства и отрочества не составил бы и полдюжины страниц...»

Мы помним: первый стих он «сочинит» в пять лет. Забегая вперед, скажу: сочинять стихи будет всю жизнь. Правда, не только всё написанное им «в рифму» не потянет на приличный сборник (стихотворений в собрании его сочинений окажется ровным счетом двадцать шесть), но и оценивать его «поэзию» будут весьма скромно. «Не стоит предъявлять больших претензий к стихотворчеству его, – заметит, к примеру, писатель и критик Дэвид Тейлор, – его стихи были порой просто незначительны, но зато они всегда были важным оружием в его литературном арсенале». Ведь даже первое напечатанное стихотворение его – «Проснитесь, юноши Англии!», – опубликованное в 1914-м, когда Эрику было лишь одиннадцать, уже было своеобразным «оружием», ибо и посвящено было великой теме – началу Первой мировой, и – до последней строки – пропитано просто оглушительным патриотизмом.

Но вот что приходит на ум в связи с этим и что уж никак не сбросишь со счетов. В начале его стихотворчества, а значит, в начале всей «литературной карьеры» Оруэлла стояла Айда – больше некому! – которая, как видим, успевала не только «вытирать носы» детям. Не сам же

он отнес свой стих в редакцию местной газетки *Henley and Oxfordshire Standart*? И второй факт – и тоже неопровержимый. Самое первое его стихотворение, то, «о тигре», которое записала Айда, было, по его признанию, навеяно стихом Уильяма Блейка «Тигр». Но сам ли он читал «Песни невинности» Блейка, или их также прочла ему мать? И если это так, то именно ее должно благодарить за рождение будущего писателя! И есть, наконец, третий факт, связанный с матерью. Он – про главную Книгу его детства. Да что там – про Книгу всей жизни его. Не про Библию, нет. Он прочтет ее в семь лет. Мы знаем даже день этого события – в ночь на 25 июня 1911 года. Начнет – и в чем-то перестанет быть прежним, глупым и обидчивым на весь свет Эриком.

Надо сказать, упоминаний, с каких лет наш Кролик начал читать сам, я, увы, не нашел. По косвенным признакам – вроде бы с трех-четырех. Где-то в биографиях его промелькнет, что, научившись складывать буквы, он радостно начал «опредмечивать» мир: читал вывески на улицах, рекламные объявления, какие-то проспекты к товарам, подписи к карикатурам и заголовки в газетах. А осенью 1908 года, в пять лет, когда его вслед за Марджори отдали в монастырскую школу, он, кажется, читал уже вполне сносно.

Монастырская школа, вернее, начальная англиканская школа при католическом монастыре, где заправляли всем французские монахини, высланные когда-то из Франции, запомнится ему главным образом тем, что там он впервые платонически (в том смысле, что издалека, «из-за угла») влюбится в Элси, девочку из последнего, старшего класса. Он вспомнит об этой влюбленности даже за два года до смерти. «Когда я влюбился, – напишет, – мне она увиделась взрослой. Снова я встретил ее, когда мне было тринадцать, а ей – года двадцать три, и она мне показалась отцветшей дамой средних лет. Старость воспринимается детьми почти непристойным бедствием... Перешагнувшие за тридцать в глазах ребенка – это безрадостные гротески... которым жить уже недолго, да, собственно, и незачем». Вот после этих слов он и выведет предложение, начисто отрицающее все те мнения и даже концепции о его «несчастливом детстве» – оно, дескать, сделало его мизантропом. «Только у ребенка, – напишет, – подлинная, стоящая жизнь». Настолько подлинная, что именем Элси он назовет первую любовь самого симпатичного из всех героев своих книг – Джорджа Боулинга из романа «Глотнуть воздуха». Да и то сказать: разве любовь – не жадный глоток воздуха?..

Что же касается чтения, то он захлеб читал всё, что передавала ему Марджори. «Робин Гуд» (он, разумеется, сразу захотел стать похожим на него), «Том Сойер», какая-то «Ребекка с фермы Саннибрук», какой-то «Коралловый остров» некоего Баллантайна... Но Главной книгой, повторю, стала та, которую он начал читать в ночь на 25 июня. Айда купила ее в подарок ему на день рождения, и собиралась вручить завтра. Но Эрик, обнаружив сверток и догадавшись, что тот для него, тайно вскрыл его и... влип! Так началась его единственная «литературная приверженность», книга, которой в 1946-м он посвятит выдающееся эссе – «Политика против литературы». Какой заголовок, а? Впрочем, полное название этой статьи, давно переведенной и у нас, звучит так: «Политика против литературы. Взгляд на "Путешествия Гулливера"». Да, в растерзанном пакете именинника лежал великий Свифт и его «Гулливер», который в прямом смысле станет Библией Оруэлла. Он восемь раз перечитает эту книгу потом, и, как утверждают, каждый раз – «по-новому, на новом жизненном этапе». Ведь книга эта вобрала в себя все более или менее важные вопросы жизни человека: религии, политики, власти, даже любви и, более того, – секса. Эта книга и ныне для каждого – как дверной косяк, на котором можно отмечать зарубками «рост» читателя. Без Свифта не было бы, думается, ни «Скотного двора», ни романа «1984». И ведь это Свифт за три века до Оруэлла сказал: «Если на земле появляется действительно великий человек, то его сразу можно узнать, ибо все дураки мира мгновенно объединяются против него». Разве это не про Оруэлла?..

Ныне только ленивый не сравнивает Оруэлла со Свифтом. Но первым сделал это Артур Кёстлер. Он, чуть ли не на другой день после похорон друга опубликовал некролог «Путь

мятежника». Цитируя Оруэлла, Кёстлер напишет о внимании этого сурового человека «к людям больших городов с их комковатыми лицами, плохими зубами и робкими жестами; к толпящимся в очередях у биржи труда, к старым девам, спешащим на велосипеде сквозь туман осеннего утра к святому причастию...» Вспомнит Кёстлер и про Испанию, где Оруэлл «присоединился не к фальшивому братству интернациональных бригад, а к самым пропащим из отрядов испанской милиции – к еретикам из ПОУМ». А всё потому, закончит, что был «единственным, кого суровая цельность сделала невосприимчивым к ложной мистике, кто не стал попутчиком и не поверил пророкам конфетного рая – ни на небе, ни на земле...» И сравнит, подравняет его по таланту как раз со Свифтом. Но, в отличие от него, от Свифта, Оруэлл, напишет Кёстлер, «так и не потерял веры в несчастных йеху... и никогда не изменял свободе».

Глава 2. «По канату над выгребной ямой...»

1.

Он мочился в постель. Это было невозможно скрыть, это сразу становилось известно ученикам, учителям и мгновенно, в первую голову, – этой ужасной миссис Флип.

«Господи, прошу, не дай мне описаться!» – жарко молился восьмилетний мальчик, раздеваясь на ночь в дортуаре, снимая короткие вельветовые штанишки и соскальзывая в кровать. Так начинается его автобиографическая повесть «Славно, славно мы резвились» о приготовительной школе-пансионе Святого Киприана, где Оруэлл проведет пять лет.

«Сегодня ночное недержание видится следствием естественным, – пишет он, – нормальная реакция ребенка, которого воткнули в чуждую среду. Но в ту эпоху это считалось мерзким преступлением, подлежащим исправлению путем порки...»

И порка, разумеется, случилась. Порол сам директор школы и владелец ее, мистер Уилкс по прозвищу Самбо – «Негритос». Отстегал отличным стеклом с костяной ручкой.

– Вздудил тебя? – спросит Эрика кто-то из поджидавшей у дверей кучки малышни.

– А мне не больно! – выкрикнет он.

Увы, на беду, это услышит та самая миссис Флип, жена Самбо, мадам Уилкс, директриса, которую как раз за пристрастие к тумакам и тычкам звали миссис Флип, то есть миссис Хлоп-Шлёп. «Что ты сказал? – гаркнет эта краснощекая коротышка. – Так-то ты понял урок? Ну-ка иди еще раз...»

Второй раз Самбо отделал его уже как следует. Сломался даже стек, и ручка его, крутясь в воздухе, отлетела в угол. Вот после этой экзекуции Кролик и разревелся. Не от боли, пишет, – от «детской глубинной горести». Правда, в дом Блэров в те же примерно дни полетело первое и вполне бодрое письмо Эрика: «Дорогая мама. Я надеюсь, ты в полном порядке, – пишет 11 сентября 1911 года. – Спасибо за то письмо, которое ты послала мне и которое я еще не читал. Я думаю, ты хочешь знать, как тут у нас в школе. Нормально, развлекаемся по утрам. Когда мы в постели». И подпись – «Э.Блэр».

Вопрос из будущего: Зачем, зачем вы трясли этими «мокрыми простынями» на весь свет? Детский энурез – это же обычное явление? Зачем вы пишете, что в этой школе начали мастурбировать? Что однажды даже донесли на своих товарищей? Или самоуничтожение, как говорят у нас, – паче гордости?

Ответ из прошлого: Автобиографии можно верить, только если в ней раскрывается нечто постыдное.

В.: Но есть правда – и правда? Подобное самораздевание, я замечал, вообще характерно для западных автобиографий. И не вы ли в одной из статей довольно язвительно разоблачаете некий публичный эксгибиционизм одного всемирно известного художника?

О.: Но писать-то я перестал... Я вообще сомневаюсь, что успехов в классическом образовании можно достичь без плетки. А пишущему о своем детстве следует остерегаться как преувеличений, так и жалости к себе...

В.: А жалости к родным, к родителям? Это ведь они «затолкали» вас именно в этот пансион? Что, не было других?

О.: Страшная штука этот «образовательный» психоз!.. Нет, вероятно, большей жестокости к ребенку, чем отправить его в среду деток значительно богаче. Никакому взрослому снобу не приснятся муки такого мальшиа. Послать сына в приличную (то есть какую-никакую, но закрытую частную) школу, ради чего немало лет влачить существование, которым побрезговала бы и семья слесаря... Но именно так я и попал в стены Киприана... Не утверждаю, что я был страдальцем... но я солгал бы, не сказав об отращении... к этой школе...

Отращение внушало всё, кроме морского ветерка, остужавшего его горящие щеки, – школа располагалась почти на берегу Ла-Манша. Через много-много лет он запишет: «Стóбит, закрыв глаза, шепнуть себе: “Школа”, и сразу передо мной – плешь игрового поля с павильоном для крикета, сарайчик на стрельбище, продуваемые сквозняками дортуары, пыльные облупившиеся коридоры... и молельня из грубых, занозистых сосновых досок... И почти отовсюду лезет какая-нибудь гадкая деталь. Например, кашу мы ели из оловянных мисок, под загнутыми краями которых всегда скапливалась и ленточками шелушилась засохшая овсянка. Сама каша содержала столько комков, волос и загадочных черных крупинок, словно эти ингредиенты входили в кулинарный рецепт... Помню себя, – пишет, – крадущимся часа в два ночи через неизмеримые пространства темных лестниц и коридоров – босиком, обмирая от тройного ужаса перед Самбо, грабителями и привидениями, – чтобы украсть из кладовой кусок черствого хлеба». Или – убирая посуду после воскресных ужинов Флип и Самбо – подбедаящим остатки с их тарелок... А гнусоватая вода в бассейне – в нем по утрам плескалась вся школа... А вечно влажные полотенца, пованивающие сыром... А не вычищенные от сальной грязи ванны... Нелегко мне вспомнить школьные годы без того, чтобы вмиг не шибануло чем-то противным и зловонным – смесью потных чулок, веющего по коридорам запаха фекалий, вилки с... навек застрявшими между зубцов остатками жилистого бараньего рагу...»

Но домой в Шиплейк (а Блэры к тому времени переехали в другой, такой же маленький городок Шиплейк-на-Темзе, по соседству с Хенли) письма по-прежнему летели бравурные. «Я на первом месте по арифметике и уже приступил к латыни» (8 октября 1911 года). «У нас была славная лекция про луну, это было ужасно интересно... и был футбол потом и сахар в конце... Я пятый во французском и английском и первый по латыни...» (25 февраля 1912 года). Последнее из сохранившихся писем от 17 марта 1912-го (и, как и предыдущие, с обязательным рисунком корабля) было ненамного содержательней: «Любимая мамочка... У нас снова было много футбола, было шесть игр, причем одна из шести была самой лучшей, когда никто не смог забить гола. Видели ли вы уже подготовку лодочных рейсов на Темзе? Я надеюсь, что всё в порядке, и все животные дома. Я первый в латыни и арифметике и третий в английском и французском. Шлю всем мою любовь. Тут проплыл сказочно большой корабль, и можно видеть стоящие на нем мачты...»

Ах, если бы он мог оказаться на палубе того корабля в своей бескозырке с надписью «Непобедимый», если бы тот корабль каким-то чудом перенес его – нет, гордо подплыл бы к Шиплейку! Как бы прыгал от радости Того, терьер, как бы сам он тихо и радостно замирал над коллекцией марок, которую стал собирать по совету полковника Холла, соседа и приятеля отца, – или над поплавком у прикормленных мест заветного пруда!

Отец к тому времени, выйдя в отставку в пятьдесят пять, занялся вдруг садоводством (даже пытался вырастить на участке какие-то диковинные деревья, черенки которых привез из Индии), увлекся гольфом в местном клубе и даже организовал какое-то общество «почтенных отставников». Там-то, среди отставников, между «своими», и прозвучало, видимо, впервые название этого пансиона – подготовительной школы Св. Киприана в шестидесяти километрах от Лондона. «Дельце» казалось выгодным. Идею, кажется, подал Чарльз Лимузин, брат Айды, который тоже увлекался гольфом и, через Королевский Истборнский гольф-клуб, знал мистера

Уилкса – Самбо, – директора этой «правильной школы». Какие уж там шли переговоры – дело темное, но директор нахваливал свое заведение (в пансионе, дескать, учатся всего сто отборных мальчиков, в классах – не больше двух десятков, а в комнатах вообще живут по четыре человека, но главное – лучшие ученики легко поступают и в знаменитые Харроу, Веллингтон, Винчестер, и даже в Итон – самый престижный колледж Британии, где по традиции учились – «вы прикиньте только!» – почти все наследники королевского престола). А Чарльз и отец Оруэлла в свою очередь нахваливали уже «товар» – то есть Эрика. И какой он способный, и сколь начитанный, и что даже пишет стихи. Словом, Самбо убедили, что Эрик, конечно же, легко поступит в Итон на «стипендиальное место» (это было выгодно директору, ибо именно так он рекламировал свой пансион перед родителями будущих своих учеников), а тот со своей стороны согласился принять «способного мальчугана»... за половинную плату. Удача! Иначе Блэрам было бы не потянуть тех 180 фунтов в год, которые брали со всех – ведь это почти треть годовой пенсии отца. В общем, когда ударили по рукам, больше всех, думаю, обрадовалась Айда: ее сын должен пойти «дальше отца».

Разницу между «коконом» дома и «клеткой» школы, где он чувствовал себя «золотой рыбкой в цистерне со щуками», вопиющее неравенство с теми «отборными» учениками Эрик почувствует не только исполосованной задницей. Замечу: по свидетельству второй жены писателя Сони Браунелл, он считал потом, что именно в этом пансионе начали «бессознательно копиться материалы для романа “1984”». О том же напишет и друг его Тоско Файвел: «Оруэлл говорил мне, что страдания бедного и неудачливого мальчика в приготовительной школе – может быть, единственная в Англии аналогия беспомощности человека перед тоталитарной властью, и что он перенес в свой “Лондон 1984 года” “звуки, запахи и краски своего школьного детства”...»

«Всемогущей фигурой в школе была жена директора миссис Л.С.Ванован Уилкс, которой восхищались ее любимчики, но которую ненавидели все остальные, – вспоминал Оруэлл. – Она делала жизнь невыносимой для тех, кто не завоевал ее расположения. Не церемонясь, давала пощечины или таскала за волосы». Кто-то из соучеников вспоминал потом, что волосы Эрика так часто подвергались выволочкам, что он начал смазывать их маслом. «Хотя школьная дисциплина зависела от неё больше, чем от Самбо, Флип даже не играла в справедливость, – пишет Оруэлл. – Сегодня за некое деяние она назначит тебе порку, а завтра в связи с тем же преступлением лишь посмеется над детской шалостью, а может, даже и похвалит: “Каков храбрец!” Бывали дни, когда все холодели от ее словно глядевших из пещеры обвиняющих глаз, а то вдруг явится жеманной королевой в окружении придворных кавалеров, шутит, щедро рассыпает дары или обещания даров (“Выиграешь премию Харроу по истории – куплю тебе футляр для фотокамеры!”). Иной раз даже посадит любимцев в свой “форд” и свозит их в городское кафе, где дозволит угоститься кофе с пирожными... Самым популярным словом в разговорах о Флип у нас звучал “фавор”... За исключением горстки мальчиков, являвшихся или числившихся богачами, в постоянном фаворе никто не пребывал, но, с другой стороны, и самые последние изгои имели шанс время от времени там оказаться. Так, при том, что мои воспоминания о Флип в основном неприязненны, помнятся долгие периоды, когда и я купался в лучах ее улыбок, когда она называла меня “старина” и разрешала брать книги из ее личной библиотеки, благодаря чему я впервые прочел “Ярмарку тщеславия”». Он пишет, что бывал «чрезвычайно горд», когда удавалось рассмешить Флип. «Я даже по ее велению писал дежурные шуточные стихи к знаменательным событиям школьной жизни... В ее однообразной лексике имелся целый набор хвalebных и порицающих фраз, точно рассчитанных на определенную реакцию. “Вперед, парень!” – и шквал энтузиазма взмывал до небес. “Не строй из себя дурачка!” – и полное ощущение себя дебилом...»

Короче, он оказался в мире, где понял: «Быть правильным, хорошим при всем старании не получится». Беззащитность его была тотальна. Для Флип и Самбо он был «товаром».

Либо выиграет при выпуске стипендию в престижный колледж, либо, как внушали ему, превратится в «нищую конторскую шуштуру». «Взрослым не объяснить терзавшее подростка нервное напряжение в ожидании какой-то страшной судьбоносной битвы», подготовку к тому главному экзамену (они называли его «экза́м»), который надо будет держать в Харроу или Итоне. «Экза́м» неизменно присутствовал в его молитвах, и, если в порции курятины ему доставалась дужка грудной косточки, или он находил подкову или даже проскальзывал через калитку, не коснувшись боковых столбиков, – всякий «знак» связывался с будущим проходным баллом в Итон или, на худой конец, в Веллингтон.

– Ужасно мило ты себя ведешь, не правда ли? – спрашивала его Флип, когда он обмешурился «на латыни». – А ведь родители твои не богачи, они не могут себе позволить того же, что в других семьях... Твоя мама так гордится тобой! Ты хочешь ее огорчить?.. А ты ведь знаешь, сколько мы для тебя сделали, ты знаешь ведь, правда?..

«На все вопросы я умел лишь мямлить: “Да, мдэм”, “Нет, мдэм”... И копившиеся слёзы неудержимо брызгали... Самбо говорил жестче. Излюбленной его фразой было: “Не впрок тебе мои щедроты!” Говорил ее и в такт свистевшим ударам трости...»

Странный парадокс, но Оруэлл ненавидел Уилксов «какой-то стыдящейся, мучившей совесть ненавистью», и одновременно верил их словам о безмерных благодеяниях. Он даже любил их. «Теперь-то ясно, – напишет годы спустя, – что в глазах Самбо я был неплохим бизнесом. Директор вложил в меня деньги и алчно ждал дивидендов. Если бы я вдруг “спёкся”, как случилось с перспективными пареньками, воображаю, сколь решительно меня бы вышибли». А пока он слезно благодарил их за «благодеяния» и зло плакал в подушку от ненависти к ним. Любить и в то же время ненавидеть – разве не так рождается в человеке «двоемыслие», которое он опишет в романе «1984»?³

Были ли светлые воспоминания о школе? Да, были; ребенок ведь. «Случались летом чудесные походы через дюны к деревням Бёрлинг-Гап, Бичи-Хэд, когда ты купался на каменистом морском мелководье и возвращался, покрытый ссадинами. Еще чудесней были вечера, когда в самую жаркую летнюю пору нас ради целительной прохлады не загоняли спать в обычный час, а позволяли бродить по саду до поздних сумерек». А еще радость – проснуться до побудки, когда спальня залита солнцем, и часок без помехи почитать любимых авторов (того же Теккерея или Уэллса). А еще – крикет, который ему не давался, но который он страстно обожал лет до восемнадцати. Наконец, как пишет, удовольствие держать у себя красивых гусениц (гарпию, тополевого бражника, отличные экземпляры которых можно было «нелегально» купить в городской лавочке) или восторг вылавливания из мутного прудика в дюнах громадных желтобрюхих тритонов...

И, конечно, главным уроком – если хотите, «социализацией» Оруэлла, давшей толчок его будущему «бунтарству», — стало реальное знакомство с «реальной» средой сверстников. Еще буквально вчера он как бы «отгородил» себя от дочери водопроводчика – этой «простолюдинки», – а ныне (в глазах «богатеньких отпрысков») сам стал таким. «Отборные» мальчишки быстро «доказали» ему, что «все животные равны, но некоторые более равны, чем другие...».

Вопрос из будущего: *Всё ведь началось со стойкого убеждения, что «самое желанное на свете» оказалось... «недостижимым никогда». Страшный ведь закон?*

Ответ из прошлого: *Учителя с их плетками, миллионеры с их шотландскими замками, атлеты с кудрявыми шевелюрами – <вот> армия <этого> неизменного закона. Трудно мне было в те времена додуматься,*

³ Эту «игру» с чувствами иные исследователи сравнивают ныне с «парадоксами» книги Л.Кэрролла «Алиса в Стране чудес», которую, несомненно, читал юный Оруэлл. Ведь от «двусмыслиц» Кэрролла до «двоемыслия» Оруэлла в его последнем романе, пишут, буквально «один шаг».

что в жизни-то этот закон не столь уж неизменен... А тогда закон меня, мальчишку, приговорил. Я не имел денег, был слаб и некрасив, трусоват, меня бил хронический кашель, от меня разило потом... Уязвимость ребенка – он... не оспаривает общество, в котором живет, и вот его, доверчивого, заражают чувством неполноценности.

В.: Вы закончили мемуар о пансионе в 1947-м. Но ведь к тому времени многое в школах Англии изменилось. И, кажется, к лучшему?

О.: Сданы в утиль молитвенник, латынь, плетки, классовые и сексуальные табу, но страх, ненависть, снобизм, непонимание, возможно, на прежних местах... И не стоит... говорить мне, что, мол, был «дурачком». Оглянитесь на собственное детство: в какую чепуху верили вы, из-за каких глупостей вы страдали... Я твердо уверен лишь в одном: закрытые школы-пансионы хуже обычных... Родной очаг должен быть рядом...

В.: Ваша проза – от доски до доски – предельно социальна. И не из чувства ли неполноценности и рождалась она? Униженность, подозрения, что за вами постоянно следят, ненависть к богатству?..

О.: Большинство учеников были сынками богатых родителей... из тех, что имеют дворцовых и лимузины... Было... несколько экзотических персон: чада аргентинских мясных баронов, парочка россиян, даже сиамский принц... Бедноту держали вдали от интересных «добавочных занятий», типа стрельбы... унижали по части костюма, белья, владения всякими предметами. Богатым между завтраком и ланчем давали молоко с печеньем, им раза два в неделю полагались уроки верховой езды... а главное, их не порол никогда... Но удивительней всего общее... убеждение... в незыблемой прочности крикливого, кичливого богатства... Благотельность денег... <представала> в ореоле очевидной моральной добродетели.

В.: И поразительно, конечно, как вы, еще ребенком, формулировали себе это. Вы ведь, как вспомнят ваши соученики, были ужасным спорщиком. Кстати, именно сын Флип и Самбо, который учился с вами, и напишет потом про вас: «Спорщик даже ни о чем и критик всего и вся. Мы любили с ним спорить. Он обычно побеждал, у него были аргументы». А ваш школьный друг на всю жизнь Сирил Коннолли вообще утверждал, что вы были в пансионе «единственным интеллектуалом и не попугаем»...

О.: Это правда, что я существо не стадное... <Но> установленные стандарты я сомнению не подвергал, ибо иных не наблюдалось. Могли ли быть неправыми сильные, модные, властные, богатые? Мир принадлежит им, так что их правила безусловно верны. И все же с самых ранних лет я ощутил: не получится у меня по их правилам. Затаившееся в сердце «внутреннее я» то и дело вздрагивало от несогласия... Вот религия, например. Ты должен любить Бога, в этом у меня сомнения не было. И до четырнадцати лет я верил в Господа, во все свидетельства о нем. Но мне же было прекрасно известно, что не люблю я его... Молитвенник, скажем, предписывал и возлюбить Господа, и страшиться, а как ты можешь полюбить кого-то, кого боишься?..

В.: Короче, вы были уже тогда «маленьким бунтовщиком»?

О.: Никогда я не бунтовал разумом, только эмоционально... В те времена я еще не умел разглядеть четкую моральную дилемму в мире, где сильный властвует над слабым... Не увидел, что у слабого есть право на собственные правила... Если чем-то и отличалась моя ситуация, если потенциально во мне было больше бунтарства, то лишь потому, что по

мальчишеским стандартам я представлял собой убогий экземпляр... Очень рано, едва ли старше десяти лет, я пришел к выводу (никто мне не подсказывал; видимо, это носилось в воздухе), что хорошего не жди, не заимев свои сто тысяч фунтов... Так что для подобных мне... единственным путем к успеху было корпеть, вкалывать по-черному... И помнить, что стоит на миг скиснуть, увильнуть, – как тут же свалишься на дно конторской шухеры...

В.: Чутье... Ведь всё это потом легло в поступки, в книги. Разве не так?

О.: Хочу прояснить и подчеркнуть: я не был бунтарем, только если силою обстоятельств. Я принял кодекс бытия... Провозглашенные кодексом... религиозные, моральные, социальные, интеллектуальные параграфы на практике противоречили друг другу... На одной стороне – церковное христианство, пуританство, упорство, трудолюбие, строгость к себе, трепет перед учеными умами; на другой – неприязнь к «умникам», страсть к развлечениям, презрение к рабочим и иностранцам, невротический страх перед бедностью и, главное, уверенность, что важнее всего – деньги и привилегии. Тебя обязывали быть христианином и в то же время преуспеть, что невозможно. Мысль об отмене несовместимых идеалов меня тогда не посещала, я просто видел недостижимость их, поскольку от тебя ничего не зависит – все зависит от того, кем ты являешься.

«Свяжи-подвесь-и-раздери» – слышал ли ты, читатель, такое выражение? А ведь это дословный перевод насмешливо-упрощенной (можно сказать, народной) формулы старинного приговора английских еретиков к казни. К казни четвертованием. Вот в школе Св. Киприана душа Оруэлла и была, фигурально выражаясь, связана, подвешена – и разорвана.

Из всех столкновений нашего «героя» в школе мне особо запомнились два случая. Первый касался его русского одноклассника. Он, «белокурый и высокий», изловил Эрика после каникул и в упор спросил: «Сколько твой отец имеет в год?»

Эрик привык к таким вопросам. «Ты где в Лондоне живешь? В Кенсингтоне, Найтсбридже? – назывались престижные районы столицы. – А сколько у вас комнат? А слуг сколько? Хоть повара-то держите? Одежду шьете на заказ или из магазина?» И наконец: «А сколько денег тебе дали с собой?..» Он знал, что отвечать русскому. «Прибавив к известной мне цифре несколько сотен фунтов, – пишет он, – я ответил. Но склонный к деловой четкости русский мальчик достал вдруг блокнотик, карандаш и произвел вычисление. “У моего отца доход, – улыбнулся, – в двести раз больше!..”»

Конечно, он терпел эти бесконечные унижения. Выход детская душа его видела в ненависти к «свинству богачей» и в глубоком презрении к тем, кто «не опознавался как “джентльмен”». «Правильным и красивым мне казалось быть благородным по рождению, но денег не иметь. Характерное кредо... Дает романтическое ощущение себя аристократом в изгнании и очень успокаивает...» Но однажды, за год до выпуска, он все-таки не выдержал. Ричард Рис, его поздний друг, напишет, что Оруэлл с десяти лет «ощущал в себе непомерную задиристость... Я имею в виду его сильное, доходящее до размеров страсти чувство справедливости». Рис не поминает, конечно, Джонни Хейла по прозвищу Командор. Но для Эрика этот «могучий здоровяк с ярким румянцем» из старшего класса был сущим бедствием. Именно он с кодой старшеклассников устраивал по ночам «суд инквизиции», когда шею малыша брали в захват (он назывался «Уганда-экстра»), а один из «палачей», чаще всего как раз Командор, яростно хлестал жертву нанизанными на бечевку ракушками или футбольной бутсой с шипами. Командор – тот и в одиночку постоянно выворачивал кому-то руки, крутил уши, кого-то хлестал стеком, за что его похваливал лично Самбо. И вот с ним-то, в раздевалке, маленький и пухленький тогда Эрик и схватился. «Помню вплотную перед глазами ухмылку на лице красавца, – вспо-

минал он. – Медлить не стоило, так как вот-вот должен был появиться педагог, чтоб увести нас “на прогулку”, и с дракой не вышло бы. Примерно через минуту, напустив на себя самый безразличный вид, я приблизился к Хейлу и, обрушившись на него всем телом, двинул ему в зубы. Ловким ударом он отшвырнул меня, но из угла рта его побежала кровь. Ясное лицо его потемнело от гнева. Хейл отошел прополоскать рот в умывальном тазу.

– Отлично! – угрожающе процедил он, когда нас уводили».

Но больше удивило нашего Кролика, что этот верзила «с его кулачищами и глумливой физиономией», эта гроза школы приставать к нему перестал навсегда... И разве не в этом корни его будущего – уже личного – конфликта с миром, выбор той знаменитой позиции «поперек порядка вещей», которую он вот-вот займет?

2.

Он стоял на голове. Тоже позиция. Встал, вытянув голые ноги в носочках к небу и не без труда удерживая равновесие. А она – она смотрела на него во все глаза.

Она – это девочка тринадцати лет, вся в рюшах, кружевах и при банте, которая только что выпорхнула из дома и застыла, увидев за забором, там, где начиналось поле, стоявшего на голове мальчика в коротких штанишках.

– Зачем ты это делаешь? – удивленно крикнула ему.

– Если стоишь на голове, – пискнула голова, – то можно увидеть намного больше...

Так, слово в слово, за два года до смерти, точнее, 8 июня 1948 года, описал Оруэлл в письме свой первый разговор с Джасинтой. Письмо было адресовано Тиму – однокашнику писателя по школе Св. Киприана, сыну отставного майора, и другу по жизни Сирилу Коннолли. Сама же Джасинта, та самая Джасинта Баддиком, которая через тридцать лет увидит Оруэлла только в гробу, в воспоминаниях о нем, опубликованных впервые в 1971 году (правда, в коротком еще варианте), подтвердит эпизод, но из тогдашних слов его запомнит другое. Он, стоя на голове, якобы сказал удивленному «банту»: «Это хороший способ, чтобы тебя заметили...»

Ну и что тут удивительного? – спросит, возможно, иной читатель. Так вот, зная его дальнейшую жизнь, сегодня, через сто лет, нельзя не сказать: он, образно говоря, будет «стоять на голове» и младенчески видеть мир вверх ногами, первородно ясным и незамутненным, все отпущенные ему годы. Видеть без экивоков, подмигиваний или «фиги в кармане», прямо воспринимая вещи «как они есть», и, уж конечно, не так, как видели их другие. Я, например, прочитав о его «стоянии на голове», сразу вспомнил строчки Ходасевича, поэта из того же примерно времени: «Счастлив, кто падает вниз головой, / Мир для него хоть на миг, а иной...»

«Иной» мир наступил тогда и для одиннадцатилетнего Эрика (он был младше Джасинты на два года). Он впервые влюбился всерьез. Это случилось в Шиплейке, где в 1914 году Блэры и Баддикомы оказались соседями. Детский роман этот будет длиться восемь лет. Да что там! Джасинта будет незримо присутствовать в его душе всю жизнь, отражаться в его произведениях, растравлять глубоко запрятанные комплексы, сказываться на его отношениях с женщинами и, наконец, подстегивать – я уверен в этом! – в творчестве. «Книги его усыпаны зашифрованными косвенными упоминаниями об их отношениях, – пишет о Джасинте один из нынешних исследователей Оруэлла Уильям Хант, – отношениях, которые могла понять только она». Наконец, это ей, еще подростком, он сказал, что обязательно станет писателем, а потом, пошушукавшись, оба даже решат, что непременно «знаменитым». Так заглавными буквами она и пишет: он решил стать «Знаменитым Писателем». Он мечтал, добавит, написать когда-нибудь роман, «подобный фантазиям Герберта Уэллса».

Первые два года после начала мировой войны оба, по ее словам, были «неразделимы». Виделись постоянно и в его доме, и в доме Баддикомов в Тиклетоне. Пару раз Эрика даже отпускали в поездку с Баддикомами на отдых. Родители не возражали против их дружбы, хотя

семейство Баддикомов считало себя в социальном плане выше Блэров. А Эрик – Эрик был уже разным. Лики Оруэлла-подростка, его «ипостаси» совмещали в себе даже несовместимое. Он был другим один на один с собой – для этого у него существовали «воображаемые собеседники», оборотная сторона его застенчивости. Один внутренний «собеседник» его даже носил имя Фронки, Эрик вел с ним бесконечные диалоги и проверял на нем свои поступки. Эврил, младшая сестра его, вспомнит потом, что он часто, затащив ее в угол и понизив голос до шепота, пересказывал ей и что сказал ему Фронки, и в какую страшную историю тот попал. Тогда же эти «разговоры» с самим собой переросли в какой-то постоянный внутренний монолог, который он сочинял. Эта способность делала его как бы «*властелином тайного мира*», в котором он «распрямлился от житейских неудач». Удивительно, но он однозначно назовет потом это скрытое состояние «литературной деятельностью»: «Я все время сочинял бесконечную “повесть” про себя самого, своего рода дневник, который существовал только в моей голове». Позже эта повесть «утратит черты грубого самолюбования и все больше и больше станет описанием того, что я делал и видел. Я мог подолгу раскручивать в мозгу такой пассаж: “Он широко распахнул дверь и вошел в комнату. Желтый луч солнечного света, пробиваясь сквозь муслиновые занавески, скользил по столу, где рядом с чернильницей лежала полукрытая коробка спичек. Засунув правую руку в карман, он пересек комнату и подошел к окну. Внизу на улице полосатая кошка гонялась за опавшим листом”, и т.д., и т.п. Эта привычка, – заканчивает, – тянулась лет до двадцати пяти».

Да, был разным. «Новым» он был с Проспером, братом Джасинты, с которым ходил на рыбалку, стрелял кроликов или галок на крыше (родители подарили Эрику ружье марки *Crackshot*) или – о, живоде! – ставил дикие эксперименты по «отвариванию ежа», препарированию убитой крысы или даже организации какого-то взрыва в саду, о котором вспоминала та же Эврил. Но «особенным» был с Джасинтой – этим нежным, но ядовитым «гиацинтом» (ведь так переводилось ее имя). С ней он видел себя словно в каком-то немом фильме «про любовь», где дамам подавали ручку или платок, где герой склонял набриоленную голову в полупоклонах, где сам себе он казался нереальным и больше всего хотел, чтобы эта «фильма» никогда не кончалась. Она запомнит его как «философичного» и «практичного» мальчика с «большим чувством юмора». Он «среди всех детей, – пишет она, – был одним из самых интересных...» Но с «щенячьим чувством» к ней, как обмолвится позже.

Он говорил ей, что ему не нравится свое имя «Эрик», он ассоциировал его с героем какого-то рассказа; что не переносит собственную внешность, гладкую да щекастую. Ему было ясно: заинтересовать «соседку с бантом» он может лишь чем-то сверхинтересным и даже таинственным. Отсюда его «страшные истории», как реальные, так и выдуманные. Он рассказывал, например, какое жуткое впечатление произвела на него гибель «Титаника» (отец читал семье за завтраком подробные отчеты об этом событии). Представляешь, говорил Джасинте, как цеплялись за корабль пассажиры, когда могучий лайнер, прежде чем уйти в воду, «встал вдруг торчком», задрал корму на тридцать метров: «У меня от этого до сих пор холодеет в животе...» И спрашивал: «А у тебя?» В другой раз рассказывал, как адски гудит металл на сталелитейном заводе, куда их водили на экскурсию, или как страшно варят обыкновенное мыло. Но особо пугал историями вымышленными. Про Дракулу (он подарит позже ей книжку о нем), про привидения (для защиты от которых подарит вдогонку маленькое распятие и зубчик чеснока) – и про неких духов, которые, по его мнению, составляют половину их городка («Этих нельзя отличить от людей, – втолковывал, – потому что они точно так же передвигаются»). Верил (или делал вид, что верит) в оккультизм, в магию, в колдовство, в то, что тень может жить отдельно от человека и что можно «заколдовать» врага, нарисовав его фигуру и воткнув в нее иглу. Кстати, с «черной магией» покончит только в Итоне, когда вместе со Стивеном Рансимоном, приятелем, пытаясь «наложить заклятие» на некоего Филиппа Йорка, вылепит из воска его фигурку и... оторвет ей ногу. «К позднему ужасу их, – пишет Гордон Боукер, один

из биографов Оруэлла, – Филипп Йорк не только впоследствии сломал себе ногу, но вскоре умер от лейкемии». После этого Оруэлл и завязал с «чертовщиной», хотя все еще верил в гороскопы, приметы и знамения. Некий Джон Бонвилл, автор полутора десятков романов и исследователь творчества Оруэлла, даже в 2003-м, в статье «Хороший человек, плохой мир», ссылаясь на пристрастие писателя к приметам, пишет, что Оруэлл и псевдоним взял именно потому – как якобы признался другу, – «чтобы никакой враг не смог бы использовать его имя для магического выпада против него»...

Блеснуть, переблистать, поразить воображение – вот чем завоевывал внимание. То изобразит в купе поезда, натурально, орангутанга – и повиснет между верхними полками, пугая какую-то пассажирку. А то ошарашит просто садистским истреблением крыс. «Ведь это почти как спорт – отправиться ночью со стеклом из кукурузы и с ацетиленовой велосипедной лампой в поля, где можно слепить крыс, которые бросаются врассыпную от ударов». Брат Джасинты Проспер даже напишет восторженно, что Эрик приобрел «одну из тех больших клеток-ловушек для крыс». Крысы вообще станут пунктиком его: вечным страхом и больше того – проклятием. Он не раз помянет их и в Париже, и в шахтерских поселках, и даже в Испании. А тогда, в детстве, яро скажет Джасинте: «Дело обстоит так: либо они, либо я». И поведает, как младенцем в Индии его в колыбели едва не покусали эти мерзкие твари. Дэвид Тейлор, биограф, утверждает, что в детстве Оруэлл читал (Тейлор пишет: «Все мы знаем, что читал») стихотворение Уильяма Дэвиса «Крыса», в котором страшное животное ждет смерти заболевшей женщины, чтобы наброситься на нее и «выесть ей скулы». Кошмар! Мы, конечно, не можем сказать «Все мы знаем, что читал», но помним: в романе «1984» главный палач говорит герою в конце книги: «Крысы хотя и являются грызунами, тем не менее плотоядны. Ты это знаешь, Уинстон. Ты же слышал, что... на некоторых улицах матери не решаются оставить детей одних и на пять минут... Они мгновенно объедают их до костей». Так что, думаю, можно сказать: он с детства был ранен двумя несообразностями мира: неравенством простолюдинов (дочь водопроводчика) – и страхом-ненавистью к крысам. Ведь и то, и другое будет сопровождать его всю жизнь.

Но больше и чаще всего Эрик и Джасинта говорили о литературе, стихах, пьесах, романах – «девочка с бантом», надо сказать, тоже считала себя поэтессой. Но куда ей было до Эрика?! Он ведь «на ее глазах» напечатал в той же *Henley and Oxfordshire Standart* свое, уже второе, стихотворение. Грандиозное, как ни кинь, событие для 13-летнего мальчугана! Увидеть свое имя в газете, услышать первые поздравления даже от незнакомых. Стихотворение называлось «На смерть Китченера» и просто истекало патриотизмом. Герберт Китченер – фельдмаршал, погиб в открытом море. Между прочим, военный корабль, на котором он утонул, плыл в союзную тогда Россию. Эрик писал про Китченера возвышенно:

Он увлекал всех тех, кто рвался в бой,
Кого дела позорные смущали,
Всех лучших вел он за собой,
А недостойные бежали...⁴

Позже Оруэлл признается: «Мною сочинялось много чепухи “на случай”, которую я писал быстро, легко и без особого удовольствия. Помимо школьных заданий я писал *vers d’occasion*⁵, полукомические вирши, которые сочинял со скоростью, теперь кажущейся мне недостижимой: в четырнадцать лет я примерно за неделю написал целую рифмованную пьесу

⁴ Перевод Л.Шустера. Цит. по: Фельштинский Ю., Чернявский Г. Джордж Оруэлл (Эрик Блэр). Жизнь, труд, время. М., 2014. С. 59.

⁵ “Стихи на случай”.

в подражание Аристофану и помогал редактировать школьные журналы... Эти журналы были самым жалким образчиком пародийной ерунды, и забот у меня с ними было куда меньше, чем с самыми примитивными газетными статьями сегодня». Так что понятно, о чем они говорили с Джасинтой, чем фехтовали в спорах и в какие выси взлетали в мечтах.

Они обменивались романами, часто ходили в книжные магазины, где можно было буквально за копейки взять кое-что просто почитать – это было типично для Англии. Восторгались то одним, то другим поэтом. «Он говорил, что чтение – это хорошая подготовка для писания: любая книга может чему-то научить; по крайней мере, как писать». Позже в заметке «Почему я пишу» Оруэлл признается: «Когда мне было около шестнадцати, я неожиданно для себя открыл радость, которую доставляли мне просто слова, то есть сочетания их. Строчки из “Потерянного рая” – “С трудом, упорно Сатана летел, / Одолевал упорно и с трудом / Препятствия...”, которые теперь не кажутся мне такими чудесными, пробирали меня буквально до дрожи, а архаичная орфография доставляла особое удовольствие. Что до необходимости описания предметов или событий, то об этом я уже знал всё. Словом, понятно, какого рода книги я собирался сочинять... – я хотел писать огромные натуралистические романы с несчастливym концом, полные подробных описаний и запоминающихся сравнений, полные пышных пассажей⁶, где сами слова использовались бы отчасти ради их звучания. И в общем-то, – пишет он, – мой первый завершённый роман “Дни в Бирме”, который я написал в тридцать лет, но задумал гораздо раньше, – во многом такого рода книга. Я привожу все эти частности, – заключает, – потому что уверен: нельзя постичь мотивов писателя, не зная ничего о том, с чего началось его становление. Содержание творчества будет определяться временем, в котором он живет (во всяком случае, это справедливо по отношению к нашему бурному и революционному веку), но прежде чем он начнет писать, он обязательно выработает эмоциональные оценки, полностью избавиться от которых не сможет уже никогда...»

Ну а если вернуться к «лав стори» с Джасинтой, то он прислушивался к ней, ценил ее советы, как старшей по возрасту, и многому в ней удивлялся. Она, например, призналась, что не верит в «бога-творца», подобного человеку, и считает «главной святостью» природу. Бог везде и во всем – чистый пантеизм. Эрик и окрестит ее «язычницей», и однажды напишет ей, по сути, любовный стих:

Мы над землей, под небесами —
Нам боги так определили;
Природа-мать владеет нами,
А боги души обнажили...⁷

Но что любопытно: Джасинта сей стих отвергла, ей показались в нем «неприличными» слова «души обнажили». Она велела – фу-ты ну-ты! – убрать это развратное слово! И наш «поэт» покорно зачеркнул его и сверху вывел: «незащищенные души». В таком виде сохранил стихотворение Джасинта. А я, зная, что она будет вытворять потом, не могу не отметить факт этого первого фарисейства. Странно, что Эрик, чуткий к таким вещам, не заметил в Джасинте уже тогда чопорного «староанглийского» лицемерия, которое, как и крыс, он будет ненавидеть всю жизнь.

Загадок, связанных с Джасинтой, множество. И, если говорить о значении ее в жизни Оруэлла, то начать надо со статьи 2011 года Гордона Боукера, одного из последних биографов писателя. Потрясло уже само название ее: «Почему нужна новая биография Оруэлла?» Боукер,

⁶ «Пышные пассажи» – приблизительный перевод существующего в английском выражения “purple style” (дословно «пурпурный стиль»). Это то, что можно назвать в художественной литературе «красивым стилем» или «гладкописью».

⁷ Перевод Л.Шустера. Указ. соч. С. 67.

если коротко, утверждает: биография нужна в связи с публикацией обнаруженных писем первой жены писателя Эйлин О'Шонесси, проливающих свет на ее «измену» мужу, с открытием материалов английских спецслужб, а также не просто с появлением воспоминаний Джасинты, но – с поздними комментариями к ним кузины ее Дайоны Венаблз. Ибо, как изящно закончил Боукер статью, всё это сделает «Святого Джорджа» «более человечным»... И – менее «святым»...

Забегая вперед, скажу: война Джасинты с биографами писателя началась много раньше «разоблачений» ее кузины. Она началась через двадцать лет после смерти Оруэлла, 10 января 1971 года, когда Джасинта увидела документальный фильм «Би-би-си» об Оруэлле «Дорога влево», составленный из интервью друзей, знакомых и критиков. Тогда и явятся ее краткие воспоминания «Юный Эрик» (они превратятся потом в книгу «Эрик и мы»). Главный посыл их, месседж, заключался в том, что никто, ни одна живая душа ничего, оказывается, не знает о жизни Эрика Блэра вне школы, не говоря уже о проблемах-причинах, которые заставили его отправиться в Бирму. Как позднее Джасинта признается Бернарду Крику, она была так «поражена полностью ошибочными представлениями о его ранних годах», что «в отчаянье и ужасе» решила исправить положение. «Мрак и ностальгия, – объясняла Крику, – развились в нем много позже. Они не были свойственны ему, когда он был юным». Словом, Джасинта с присущим ей пылом больше всего хотела развеять миф о «несчастном детстве» Эрика, миф, во многом базирующийся, конечно же, на собственных писаниях Оруэлла, особенно на эссе его про школу «Славно, славно мы резвились». Ведь, опираясь именно на него, повторю, биографы Оруэлла очень уж прямо выводили и «вечный пессимизм» писателя, и мрачный взгляд на действительность, и, как следствие, – провидчество его последних произведений, заставивших содрогнуться едва ли не весь мир. Потому и не принимали в расчет воспоминания Джасинты, делали вид, что их как бы и не было. Она же едва не в истерике билась, доказывая, что Эрик на самом деле был «вполне счастливым». «Особенно счастливым» был, по ее мнению, «когда закончил Киприана».

Джасинта, например, помнила тот декабрьский денек накануне Рождества 1916 года, когда Эрик, буквально с поезда, предстал перед ней в необычном галстук. Галстук в черно-зелено-синюю полоску повязывался выпускникам школы Св. Киприана и как бы символизировал «славное школьное братство». «Хорошо помню, – напишет и Оруэлл, – чувство освобождения, словно галстук был и знаком возмужалости, и амулетом против голоса Флип и плетки Самбо. Я убежал из рабства...» Позади были школьные экзамены по греческому, латыни, французскому и английскому языку, которые приехал принимать «со стороны» (так полагалось для объективности) сам Грант Робертсон из Оксфорда – опытный и строгий педагог. Эрик вспоминал выпускные испытания, и сердце наверняка ёкало от радости: он да еще Тим – Сирил Коннолли – оказались лучшими. «По греческому, – объявлял Робертсон, – Блэр и Коннолли проявили хорошие знания, были почти равными при переводе, но Блэр был явно лучше в грамматике». В латыни – «трудно было предпочесть Блэра или Коннолли по грамматике, но по сочинению Блэр был явно лучше». В знании французского, – так при всех говорил арбитр из Оксфорда, – были почти равны Блэр, Кирпатрик, Коннолли и Грегсон, но Блэр был лучше всех в переводе и сочинении». А вот в английском, в итоговом сочинении на тему «Что собой представляет национальный герой?», он подкачал – стал третьим, сразу за Тимом. Он, оказывается, слишком много внимания уделил героизму и мало – как раз «национальному» в герое. Но главное не это, пересказывал он «порядок событий» Джасинте. Главное – он и Тим, оба, выдержали те самые «экзамены», которых боялись все пять лет, – «стипендиальные экзамены» в два престижнейших колледжа Британии: в Веллингтон и, представьте, в Итон. Прощай, «зубрежка-долбежка»: он для себя решил («Сначала бессознательно, а потом – прицельно»), что если выиграет «королевскую стипендию» в Итон, то навсегда «покончит с ней». «План этот, надо заметить, – напишет позже, – был полностью реализован: в ближайшие лет десять я в

своих трудах вряд ли лишний раз шевельнул пальцем». Кстати, «экзамены» оказались не такими и страшными.

В общенациональном конкурсе для поступления стипендиатами в Итон в тот год участвовало семьдесят подростков. Стипендию могли получить лишь тринадцать. Эрик, надо сказать, оказался четырнадцатым – и «выбыл из игры». Оставалась надежда, что кто-либо из выигравших по той или иной причине откажется от нее, и тогда возьмут его (что и случится). Зато с самого начала была обеспечена другая стипендия, в менее престижной средней школе – в Веллингтоне. Одну за другой он получал премии за отличные знания классических языков – древнегреческого и латинского – и истории (одна из премий считалась особенно престижной и присуждалась знаменитой школой Харроу, которую не так давно закончил Уинстон Черчилль, его «близнец по славе» в XX веке)⁸. «Но там были такие глупые вопросы, – смеялся Оруэлл. – Кто был обезглавлен на корабле в открытом море? Или кто застал вигов во время купания и убежал с их одеждой?..» Может, и признался Джасинте, что устроители подобных конкурсов на деле ленились из года в год составлять новые вопросы, и в школе Св. Киприана заранее знали, о чем будут они...

И вот – всё было кончено! Поезд вез его домой на каникулы, и впереди были мама и сестры, отец, который опять будет чем-нибудь недоволен, и Джасинта. «Как же я был счастлив тем зимним утром!.. Колледж, – надеялся, – будет повеселее Киприана, хотя, в сущности, столь же чуждым... Немного покоя, немного баловства... а затем крах. Какая погибель ждет – неизвестно: может, колонии или конторский табурет, а может, тюрьма или досрочная кончина. Но на пару лет будет, наверное, возможность поплевать в потолок, пожить неподсудным грешником, как доктор Фауст. Я, – пишет, – твердо верил в свой злой рок, и вместе с тем сердце пело от счастья». В Итоне, он знал это, у него будет своя комната – даже, может, с камином. А в Веллингтоне будет отгорожена личная спальня в общежитии – можно вечером сварить себе какао. Совсем по-взрослому! И сколько хочешь просиживай в читальнях, и летним днем можно запросто увильнуть от спортплощадки и шлаться по сельским холмам без надзирателя... И Рождество на следующей неделе. «И блаженство обжорства, – не забывал. – Уж очень соблазнительны были двухпенсовые кремовые булочки в бакалее возле нашего дома. И даже такая мелочь, как по ошибке выданный на дорожные расходы лишний шиллинг – неожиданная удача в пути угоститься чашкой кофе с парой пирожных... Кусочек счастья перед надвигающимся будущим. Мрачным будущим, – пишет Оруэлл, – как мне представлялось...»

«Всё это было тридцать лет назад и даже больше, – заканчивал он свой мемуар о детстве. – Теперь у меня даже не хватает злости тешиться надеждой, что Флип и Самбо ушли в мир иной, а школа действительно сгорела». Под этой последней фразой и стоит год окончания рукописи – 1947-й. Но начал он писать «Славно, славно мы резвились» в 1939-м. Начал, ибо за год до этого, в 1938-м, о школе Св. Киприана написал свою «повесть» Тим. Книга его называлась «Враги обещаний», и в ней многолетний друг Эрика утверждал: школа «давала неплохое образование». Это и возмутило Оруэлла. Нет, как же, постойте?! Ведь они «учились ради оценки», «для показухи», их обучали не столько знаниям, сколько «хитрым трюкам», которые должны были «впечатлить экспертов»; ведь практически не было ни математики, ни географии, а «интерес к естественным наукам вообще презирался». Но, изложив свой взгляд на школу, Оруэлл тогда же публикацию и отложил. Он понял: получилось всё в «слишком страшном свете». Короче, при жизни Оруэлла его повесть о детстве так и осталась неопубликованной. В печать ее отдаст вторая жена писателя, Соня Браунелл, да и то только в США и изменив название школы, место ее и имена действующих лиц. Обычная история для Оруэлла:

⁸ «Близнец по славе» – не фигура речи. Так в известном сериале «Би-би-си» из 15 фильмов «История Британии», вышедшем на экраны в 2000 году (автор – Саймон Шама), в последней серии цикла под названием «Два Уинстона» было однозначно заявлено: лишь два всего лидера минувшего столетия – Черчилль и Оруэлл – смогли фундаментально повлиять на будущее страны, стали «олицетворением истории Британии XX века» и, в конечном счете, «ключевыми фигурами».

многие его вещи не публиковались при жизни по несколько лет. Свобода от цензуры, вообще «свобода слова» на свободном Западе была не для него. Слишком зол был, спросите? Да нет, слишком честен...

Впрочем, как бы то ни было, он возвращался домой победителем. Впереди был или престижный Веллингтон, или, если повезет, Итон. И впереди была любовь с Джасинтой... Он только не догадывался еще, что она сыграет роковую роль в его жизни. Не знал, что она дважды предаст его.

3.

«Пока не закалишься, – скажет он про школьные годы, – всё кажется, что ходишь по канату над выгребной ямой...»

Возраст закалывания, по его словам, – с семи до восемнадцати лет. А вот единственным равновесом – фигуральным «шестом», который помог ему балансировать, устоять на виртуальном «канате», – оказалась для него литература. Это подметит, кстати, В.А.Чаликова. «В силу необоримых обстоятельств – генетических, семейных, житейских, – напишет еще в 1980-х, – слово с ранних лет было его *единственной защитой от жизни* – “от отвратительных подробностей жизни”». Недаром еще в юности он просто влюбился в строку поэта: «Осмелюсь быть собой. / Дерзай стоять один...»

Строка эта ошеломит его в Итоне, хотя про сам Итон с его обычаями, традициями и «племенными ритуалами», которые так красочно описаны в столь многих романах и мемуарах, он не скажет почти ничего. Как великое достоинство, отметит «цивилизованность и терпимость, которые давали каждому справедливую возможность развивать свою индивидуальность». Сухо, отчетно скажет, будто отмахнется. Правы биографы, утверждавшие, что ему просто нечем было «возмутиться». Хотя в Итоне его тоже будут пороть, правда, не оскорбительно, тоже как бы «отчетно», для порядка, ибо пороли, во-первых, всех новичков, а, во-вторых, делали это сами ученики, только старшего класса. Дедовщина, если по-нашему.

Итак, в мае 1917 года он впервые ступил на мощный булыжниками двор Итона, окруженный мрачноватыми краснокирпичными стенами с окнами-бойницами. То ли плац, то ли двор тюрьмы. Кто его привез в старинный городок Виндзор в тридцати километрах от Лондона, почти под стены королевского замка, – об этом история умалчивает. Но не трудно представить, как он, невысокий мальчик (он пойдет в рост лишь через год), «изрядно похожий на хомячка», как вспомнит одноклассник Деннис Кинг-Фарлоу, с «необыкновенно пухлыми щеками» и голубыми, слегка навывкате глазами, как напишет уже Джордж Уэнсбро, запрокидывал голову и открывал рот, разглядывая знаменитую часовню Итона – величественное здание, рвущееся к небу, с готическими окнами и каменными пиками по карнизу, на которые навечно, кажется, были вздернуты набухшие туманами облака. Он только что окончил весенний семестр в Веллингтоне, куда попал по полному праву, и вот в мае получил Королевскую стипендию Итона. «Королевский школьник»! В четырнадцать лет – казенный стипендиат! И Тим Коннолли – ура! – тоже попал! И Виндзор, и эта мантия, которую надо надевать по торжественным дням поверх черно-белых форменных костюмов! И отдельная комната, пусть и клетушка! И пять почти лет впереди! Не жизнь – сплошь восклицательные знаки.

Итон – «колыбель британской элиты». Это как молитву, мантру повторяет столетия уже – с 1440 года – английский истеблишмент. Двадцать премьер-министров вышли из его стен. Да и нынешний наследник престола, будущий монарх, сын Дианы принц Уильям Артур Филипп Луи, – он тоже, как и младший брат его Гарри, итонец. Основанное королем Генрихом VI, это учебное заведение было предназначено лишь для семнадцати питомцев, которых готовили к учебе в Королевском колледже Кембриджского университета. Правда, к началу XX века здесь обучалось уже 1000 учеников, а сегодня – вообще 1300. Ныне только плата за обучение в нем

составляет 50 тыс. долларов в год. Есть там, к слову, и факультет русского языка и литературы. И, несмотря на тотальный интернет и прочие новомодные прибаамбасы, все до пота занимаются спортом. Особо популярен, как и во времена Оруэлла, «итонский пристенок» – игра в мяч, нечто среднее между футболом и регби.

История этой «привилегированной» игры давняя, чуть ли не с начала 1700 годов, когда на территории Итона возникла слегка искривленная кирпичная стена в два роста высотой, ныне заросшая пробивающимися между камнями травками. Вот у нее-то, на площадке шириной в пять и длиной в сто десять метров, раз в году, 30 ноября, в День святого Андрея, проводился и проводится официальный матч пансионеров – главное спортивное событие. В игре разрешается толкаться плечами и корпусом, но нельзя играть руками и переходить в драку. Главное – загнать мяч в ворота: с одной стороны это дверь в сад, с другой – два дерева-штанги. Обычно сходились две команды по десять человек, состоящие из королевских стипендиатов *King's Scholars* (их в Итоне насчитывалось семьдесят человек, и они считались как бы хранителями стены) и – всех прочих, *Oppidans* (как бы горожан). Но штука в том, что голы в этих матчах чрезвычайно редки, они случаются – вообразите! – раз в десять лет. Последний раз в официальном матче гол был забит 30 ноября 1909 года, а в неофициальном – в октябре 2005-го. В анналах Итона – и тут вы просто рухнете! – хранится память о двух незаурядных игроках прошлого – о Гарольде Макмиллане, 65-м премьер-министре Великобритании, и... о нашем герое – об Эрике Блэре. Вот вам и толстячок-хомячок! Уж не в этих ли матчах он заработал будущий туберкулез? Хотя сам он, скажу, глубоко возненавидит эту игру, считая, что она основана «на ненависти, зависти, хвастовстве, нарушении всех правил и садистском насилии». Впрочем, на сохранившейся фотографии его команды он выглядит уже высоким и крепким парнем. Майкл Шелден, биограф, пишет, что здоровье его, аховое еще недавно, в Итоне сильно поправилось. «Он стал хорошим пловцом, чуть ли не профессионалом в нескольких видах спорта и человеком крепкого духа, который словно получал наслаждение от игры (нет, не в футбол, как вы, возможно, подумали! – В.Н.) в одинокого волка...» Примечательная реплика, про «волка»-то...

Кстати, как раз Шелден напишет, что к окончанию Итона Оруэлл достигал уже в росте «полных шести футов и трех дюймов» (по-нашему – 190,5 см). Но я вспомнил об этом, читая очерк Оруэлла «Англичане», написанный через много лет. Там, коснувшись вдруг «физического типа соотечественников», он не без снобизма написал: «Высокие и долговязые фигуры... редко встречаются за пределами высших классов». А вот «трудящийся люд» – тот в основном «мелковат, короткорук и коротконог». Не берусь судить, так ли это, но после этих слов признанию его в юном снобизме веришь куда больше. «В свои четырнадцать-пятнадцать лет я был гадким снобом, – сознается позже и добавит: – Снобизм, если постоянно не выпалывать его, как выюнок с грядок, держится в тебе до могилы».

А в Итоне он, надо сказать, угодил просто в рассадник, питомник, главную «колыбель» британского снобизма. Здесь «простолюдинов» не водилось вовек, хотя и особых барьеров для них вроде бы не было. «Безродных» тихо и незаметно, но категорично отделяли от «сословных». И знаете чем? Знанием латыни и древнегреческого. В частных дорогах приготовительных школах от выпускников требовалось не просто читать, но – говорить на них, и это «изысканное знание» ценой слез, протертых штанов и порок просто вбивалось в учеников. Без него немыслимо было поступать в Кембридж–Оксфорд–Эдинбург, чьи университетские дипломы почти автоматически делали в дальнейшем их обладателей (независимо от специализации) «своими» в высших слоях общества и заведомо обеспечивали карьерный рост. И ведь не придерешься к «традиции»: никакой дискриминации, мы лишь требуем от каждого фундаментальных знаний, в том числе классических языков. Ничего личного! Этот «трюк» Эрик, поначалу несомненно гордясь вступлением в круг итонцев, раскусит позже, когда в одном из

очерков напишет: «В Англии... вся власть... принадлежит одному-единственному классу... Нами управляют воспитанники дюжины частных школ и всего двух университетов...»

Всё это будет еще. Пока же ему, «закаливая» душу, предстояло выдержать два экзамена, которые не значились в расписаниях. Экзамены-экзакуции! Первый так и назывался – «вступительный экзамен». Для этого новичок должен был взобраться на стол в общем зале и показать, на что способен: прочесть стихи, продемонстрировать фокус, акробатический трюк. Если не глянешься, в тебя полетят учебники, огрызки яблок, пеналы – всё, что попадет под руку. Эрик, хоть и не обладал хорошим слухом, «решился исполнить модную в то время американскую студенческую песенку “Спускайся с Бангора”». Воображаю, как он «вытягивал» на столе:

На Восточном экспрессе,
Бангор покидая,
Отохотившись в Мэне,
В дебрях милого края,
С бородой и усами —
Не узнаешь в момент —
Едет поздоровевший
После лета студент⁹.

Позже шутил, что именно по этой песенке и представлял себе в те годы «всю Америку». Гогочущему жюри, кстати, «хит» понравился: не огрызки – сплошной и даже бурный аплодисмент.

Хуже было со вторым «экзаменом». Эрику, конечно, рассказывали о нем, и, когда перед отбоем в коридоре раздался зычный призыв: «Блэр, твоя очередь!», – он отправился на зов, как на закание. На этот раз надо было смиренно войти к собравшимся выпускникам, прилюдно спустить штаны и лечь на лавку. Дальше следовала рутинная порка – «прописка» в Итоне. Пороли и за нарушение дисциплины, и воспринимать это надо было тоже как ритуал. Причем жертва не только не смела сопротивляться, но – и возражать. И, конечно, униженно натягивая брюки под крики: «Спокойной ночи, друг!», Эрик слабо утешался мыслью, что и он, став выпускником, будет почем зря драть младших.

Любая человеческая жизнь интересна. Тем более интересна, даже в мелочах, жизнь Оруэлла. Его поселили в старом, казарменного типа здании Палаты (*Chamber* – это слово переводят еще как «Камера»). Тогда, как и ныне, Палата представляла собой длинные ряды «кабинок» вдоль общего прохода. Отдельная конура для каждого, но лишь в рост человека: стены не доходили до потолка. Так же устроен, кстати, и Пушкинский лицей в Царском Селе, который, возможно, и создавался на манер передовых школ Запада. Впрочем, Эрик легко ужился в своем «гнездышке», ведь даже в такой клетушке никто не мог подглядывать через плечо, что он там пишет себе в своих тетрадочках. Каждому полагалась деревянная кровать, которая днем поднималась и прикреплялась к стене, крохотный столик, стул и полка для книг. Первый урок начинался в 7:30, потом – завтрак, потом – еще три урока. Дальше шло время общения со своими тьюторами (наставниками из преподавателей) – типа бесед, или «делания уроков».

Наставником Оруэлла оказался Эндрю Гоу, специалист в области классической филологии, которую он преподавал также в Кембридже. Не знаю, стал ли он другом всей семьи Блэров, но известно, что отец Эрика приезжал потом к Гоу выяснять, есть ли реальный шанс у сына на поступление в Оксфорд. Зато сам Оруэлл будет всю жизнь не только встречаться с тьютором, но советоваться с ним и переписываться (сохранилось, например, большое письмо его к учителю от 1946 года, в котором Оруэлл, уже известный на весь мир писатель, рассказывает

⁹ Перевод Л.Шустера. Указ. соч. С. 51.

Гоу, и что сделано им, и каковы творческие планы его, и даже о семейных делах и здоровье, о чем вообще-то распространяться не любил). Хотя, замечу, имея такого наставника, знаниями в латыни он, увы, не блистал – получил лишь 301 балл из 600 возможных. Правда, как остроумно замечают исследователи, высший балл по латыни здесь могли бы получить разве что Вергилий или Тацит, так как «лучший ученик Итона Роджер Майнорс, впоследствии известный профессор латинского в Оксфорде, – и тот удостоился только 520 баллов».

Эрик и здесь, как и в школе, оказался беднее других, у него было меньше карманных денег, костюмчик на нем почти всегда лоснился, а брюки у этого худого и высоченного школьника, меряющего пространство, что тот циркуль из готовальни, едва прикрывали голени. Нехватка средств ощущалась и в семье; что говорить, Марджори, старшая сестра, однажды даже бегала занимать денег у подруги на билет ему до Итона – смешную, стыдную в общем-то сумму. Особо это сказалось, когда начались «военные трудности» вступившей в мировую войну Англии, когда вместо масла на столах всё чаще появлялся ненавистный маргарин и когда возникли «талоны на питание». Война, безденежье и, конечно, «семейный патриотизм» побудили отца Оруэлла вступить в королевскую армию в звании «второго лейтенанта» (его, шестидесятилетнего, отправили во Францию, под Марсель, где в лагере трудового подразделения Индийского полка ему было поручено надзирать за армейскими мулами), а Марджори и даже мать нашего итонца – устроиться на работу. К 1917 году Айда и Марджори не просто переехали в Лондон, но стали трудиться: Айда – в канцелярии министерства пенсионного обеспечения, а Мардж, тоже патриотка, – во вспомогательной воинской части, которая занималась перевозкой почты.

Эрик же, напротив, день ото дня терял свой детский патриотизм, на глазах превращаясь в стойкого пацифиста. Это ценилось в кругу учеников и выделяло его. С одной стороны, он гордился, что выпускники Итона раз за разом уходили на фронт офицерами (его соученик, будущий историк Кристофер Холлис подсчитает потом, что на войне сражалось 5687 итонцев, из которых убито было 1160 человек, а 1305 – награждено орденами и медалями), и непритворно переживал, когда на молебнах в капелле поминали погибших. А с другой – хихикал, «злорадно-весело» кривил губы и издевался, когда навещавшие колледж фронтовики-выпускники, недовольные равнодушием учеников, лишь рявкали подросткам, что война – «хорошее дело», что она «делает мужчину мужчиной». Он искренне считал, как признаётся в 1940 году, что уклонение от участия в школьных парадах и демонстративное отсутствие интереса к войне служили в Итоне признаком «просвещенного человека». Более того, его детский патриотизм не сразу, но сменился не просто пацифистскими настроениями – мрачными предчувствиями, что Англия, как напишет Сирилу Коннолли, не только ничего не выиграет в этой войне, но, напротив, «много, если не всё», потеряет: «потеряет империю Киплинга», а в конечном счете – потерпит крах «британское господство в мире». Такой вот ранний пророк...

Ирония и насмешки помогали ему если не оправдывать, то скрывать навалившуюся на семью бедность. Он уже научился «прикрывать» этот недостаток язвительной улыбкой, скепсисом, а по отношению к лабиринту итонских традиций даже бравировал порой откровенным цинизмом, что тоже негласно ценилось. «Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать, не богатея», – цедил сквозь зубы вычитанную мысль Бернарда Шоу. И чего стоит, скажем, только одна Эрикова фраза, пусть и полная почти казарменного юмора, но зато долетевшая до нас: «Жизнь может дать только одно облегчение – кишечника». Таким стал теперь «стиль Блэра», вспомнит о нем Деннис Кинг-Фарлоу. «Был против Киплинга и воспеваемой им империи, против цилиндров, вошедших в моду, против миллионеров, – пишет современный нам биограф Гордон Боукер. – Роль кри-

тика, хоть и аутсайдера, хорошо подходила ему. Став взрослым, к Кипплингу помягчает, но не к империи или, если уж на то пошло, – не к цилиндрам...»¹⁰

Эти детали сами по себе, возможно, тривиальны, но это был новый опыт. С годами ему всё ближе станет мир своего школьного класса, с которым рос, разделяя удовольствия и трудности. «Блэр был в дружелюбных отношениях со всеми, – пишут Питер Стански и Уильям Абрахамс, – но и несколько отстраненным, как человек, идущий своим путем, не вполне еще “еретик”, но и не коллективный энтузиаст... Трудно сказать, нравилась ли ему такая позиция, или же он принял ее как форму самозащиты. Самозащита его была тесно сопряжена с нежеланием или даже опасением раскрыть себя, как и с неким удовольствием, находимым в скрытности и мистификации. Даже для друзей своих он уже был своего рода загадкой, как в Итоне, так и позже...» Да-да, наш «циркуль» не только мерил пространство ходулями, но и как бы выводил вокруг себя графически правильные, но невидимые круги отчужденности, «баррикады», оберегающие неприкосновенность души.

Редкими друзьями по Итону станут вообще-то два-три человека. Конечно, Тим Коннолли. Конечно, Стивен Рансимен, с которым многое будет связано и позже. На третьем году сойдется с Энтони Пауэллом, тогда еще первокурсником, с тем самым сэром Пауэллом, который будет близок ему всю жизнь и который, как помните, будет хоронить Оруэлла. Тогда же познакомится с еще одним будущим сэром, хоть пока и не «узнает» в нем близкого впоследствии друга, – с Ричардом Рисом; тот, напротив, учился в старшем классе. Отметим и Леопольда Майерса, будущего «богатого марксиста», который, как и он, станет писателем и немало сделает для больного Оруэлла. Писателями среди однокашников Оруэлла станут многие. И Тим Коннолли, и Пауэлл, и Гарольд Эктон, и, наконец, Брайан Ховард и Генри Йорк (романист Генри Грин). Оруэлл будет мало связан с большинством из них якобы потому, что они были «не слишком учены». «Но эти элегантные, изысканные, остроумные и привлекательные мальчишки, – напишет позже поэт Стивен Спендер, – станут ядром эстетов Оксфорда, которые будут иметь большое влияние в университете с 1926 по 1929 год». Наверняка, пишет Спендер, манеры этих «мальчишек», их стиль жизни повлияли на Оруэлла, но, в отличие от них, от их «дилетантизма», Эрик был усидчивей в учебе и даже в первых пробах пера. Его «нерифмованный ямб», может, и был банален по языку, «но как же он отличался, – заканчивает Спендер, – от богатых экзотикой стихов Гарольда Эктона, да и от прозы Сирила Коннолли...»

Эрик считал себя уже, а иногда и представлялся (думаю, дурашливо) «известным писателем». Но если всерьез – именно литература и спасала его на том самом... «канате». Он без конца скрипел пером и табуреткой под задницей в своей каморке, заполняя бесконечные тетради набросками, рассказами, даже драмами. Писал стихи, то, что назовет потом «пустым графоманством», и там же пробовал писать «натуралистические романы» с несчастливым концом. Ничего из этого, кстати, не сохранится. А кроме того, вместе с Роджером Майнорсом и Деннисом Кинг-Фарлоу затеет издание школьного журнала и выпустит несколько номеров. Журнал «Время выбора» был рукописный, и подростки – так, во всяком случае, пишут – даже зарабатывали какую-то сумму, «давая читать его за один пенни». А когда позже у Денниса не на шутку разыграет «корыстный интерес» и он договорится с двумя местными фирмами о предоставлении небольшой суммы денег в обмен на рекламу, то на свет появится уже типографский журнал «Школьные дни». Успеют выпустить только два номера, и в каждом Оруэлл печатал стихи, очерки, а в последнем даже разразился одноактной драмой «Свободная воля».

Впрочем, больше всего меня поразила в итонском бытии Оруэлла «неузнанная», как я ее называю, встреча двух великих будущих «антиутопистов». Невероятно ведь, но французский Оруэллу преподавал в Итоне сам Олдос Хаксли. Ныне в истории литературы их имена стоят

¹⁰ Оруэлл, по позднему признанию, «поклонялся Кипплингу в тринадцать лет, ненавидел в семнадцать, пользовался им в двадцать, презирал в двадцать пять лет, а ныне, – как напишет, – снова восхищаюсь им...»

почти рядом, хотя при «встрече» ни тот, ни другой внимания друг на друга не обратили. Многие искали потом хоть какую-то связь Хаксли и Оруэлла в Итоне, но, кроме неблестящих оценок Эрика, не нашли ничего. Стивен Рансимен обмолвится позже, что Хаксли, имея «лингвистическое чутье», занимался с ними «по-особому, рассказывал о редких выражениях и учил специальным мнемоническим приемам... Но педагогом был неважным, – скажет, – не мог поддерживать дисциплину и вообще вел себя ужасно неровно...»

Хаксли, кстати, было немногим больше двадцати – он был старше Оруэлла на десять лет. Разумеется, Оруэлл не знал, что Хаксли был родовит, происходил из семьи, давшей миру многих знаменитых естествоиспытателей, писателей, художников. Дедом его был, к примеру, крупнейший биолог Томас Хаксли. Не знал, что Хаксли тоже грезил писательством и буквально «не вылезал» из Блумсбери, «литературного уголка Лондона», из «салонов высоколобых», от леди Оттолайн Моррелл или Вирджинии Вулф.

Поразительно все-таки устроен «всеобщий литературный мир»! Ведь именно в 1917 году, когда Хаксли только начал натаскивать Оруэлла во французском, русский художник и поэт Борис Анреп, еще недавно расставшийся после короткого романа в России с Анной Ахматовой и также не вылезавший из тех же богемных салонов, ввел в круг британских «избранных» прибывшего в Англию поэта Николая Гумилева, мужа Ахматовой, – тот, уже дважды кавалер Георгиевских крестов, рвался воевать в русском экспедиционном корпусе на Салоникском фронте и на какое-то время оказался в Лондоне. Анреп же еще в Париже встречался с леди Оттолайн Моррелл, сестрой герцога Портлендского и – тогда – любовницей Бертрانا Рассела. Именно она и познакомила Анрепа со своими друзьями-писателями: блумсберийцами Дезмондом Маккарти, Клайвом Беллом, но главное – с Вирджинией Вулф, которая тогда была еще Вирджинией Стивен. Так вот, Анреп, поселив Гумилева у писателя-англичанина Бехгофера, в две недели перезнакомил его с Честертоном, Йейтсом, Гарднером, Д.Х.Лоуренсом и... с молодым Хаксли. Ну не фантастика ли? Как же близко, в двух шагах друг от друга пролетают вдруг в этом мире литературные «кометы»! Оруэлл, Хаксли, Честертон и – неожиданно – Гумилев. И кто знает, может, Хаксли и рассказал своим ученикам в Итоне о странном русском поэте, который, как и Оруэлл, сначала «делал жизнь», и лишь потом – писал о ней. В любом случае, наш герой был, как сказали бы ныне, в «одном рукопожатии» от Гумилева. А Честертон, уже знаменитый тогда, которого (по глухим, правда, слухам) юный Оруэлл мог видеть на каникулах у своей тетки Нелли Лимузин, после одного из приемов в салонах блумсберийцев сказал о Гумилеве: «В его речах было качество, присущее его нации, – качество, попросту говоря, состоит в том, что русские обладают всеми возможными человеческими талантами, кроме здравого смысла... Было в нем и нечто такое, без чего нельзя стать большевиком... Он не коммунист, но утопист, причем утопия его намного безумнее любого коммунизма. Его предложение состояло в том, что только поэтов следует допускать к управлению миром. Он... уверен, – заканчивал Честертон, – что, если политикой будут заниматься поэты или по крайней мере писатели, они никогда не допустят ошибок и всегда смогут найти между собой общий язык...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.